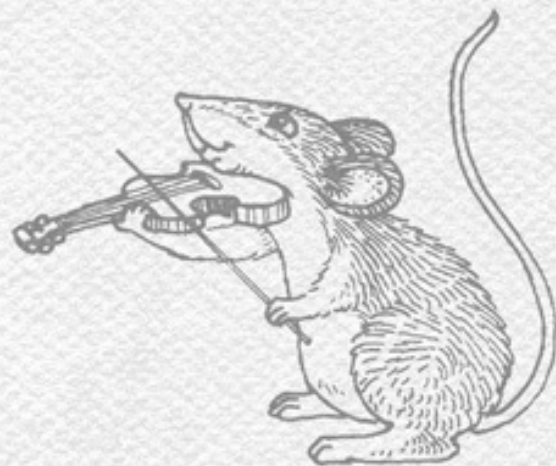
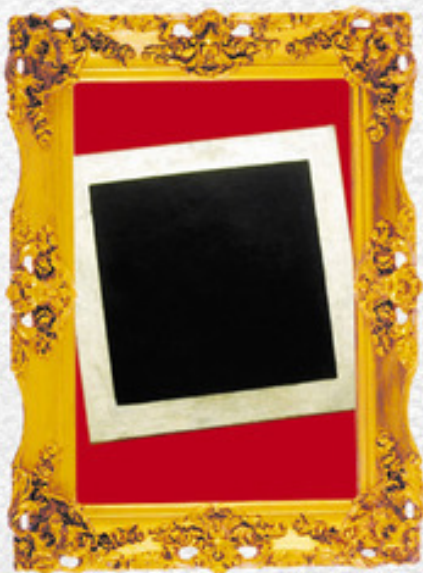


Избранное

*Песнь
торжествующего
плебея*



М. ВЕЛЛЕР

М. ВЕЛЛЕР

Михаил Веллер

**Песнь торжествующего
плебея (сборник)**

«Издательство АСТ»

Веллер М. И.

Песнь торжествующего плебея (сборник) / М. И. Веллер —
«Издательство АСТ»,

ISBN 5-17-038569-2

***НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕЛЛЕРОМ МИХАИЛОМ ИОСИФОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВЕЛЛЕРА МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА.** Сборник избранного «Песнь торжествующего плебея» — жесткий разговор профессионала об убийстве нашей культуры, о самосожжении писателя в борьбе за совершенство, о карьерах и падениях. В книгу включены рассказы о литературном мастерстве, памятные многим сегодняшним журналистам и писателям. Содержание сборника: Вначале и в конце Гуру А может, я и не прав Положение во гроб Рандеву со знаменитостью Ящик для писателя Ящик для писателя Молодой писатель Версия дебюта Как писать мемуары Как платят писателю Стиль Служили два товарища, ага! Красная редакция Как меня редактировали Редактор жалуется Укуситель и укусомый Укуситель и укусомый Критики пишут романы Самокритика и незадача Блым-блым-блым Обеспечение удара Как бы О языковой сервильности великороссов «Иномарка» как рудимент самоизоляции Мат: сущность и место О психосоциальной сущности новояза Долина идолов Масс и культ Театр и его вешалка Слава и место в истории Золотой и серебряный Товарищи, в ногу! Интим Культура как знаковое поле Технология рассказа Введение Глава 1. Замысел Глава 2. Отбор материала Глава 3. Композиция Глава 4. Зачин Глава 5. Стиль Глава 6. Деталь Глава 7. Эстетическая концепция Приложение. Борьба с редактором Краткая-краткая библиография

ISBN 5-17-038569-2

© Веллер М. И.
© Издательство АСТ

Содержание

Песнь торжествующего плебея	6
Вначале и в конце	13
Гуру	13
А может, я и не прав	21
Положение во гроб	26
Рандеву со знаменитостью	33
1. Парад	33
2. Реверанс	33
3. Знакомство	34
4. Оценка	41
5. Кумир	42
6. Свой парень	44
7. Милый-дорогой	45
8. Гамбургский счет	45
Ящик для писателя	47
Ящик для писателя	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Михаил Веллер

Песнь торжествующего плебея

Песнь торжествующего плебея

1. О роли «Черного квадрата» Малевича один искусствовед выразился с душой: «В этот черный квадрат провалилось все наше искусство».

Гениальность Малевича явилась в знаковом акте. Любое искусство условно, но здесь условность достигла степени кода для посвященных. Классика эзотерики. Художник слал людям знак, что:

традиционное искусство устарело и исчерпало себя; оно коммерциализировалось, поэтому нами с горькой издевкой отрицается; трактовка произведения искусства адресатом достигла такой глубокой многозначности, что достаточно и намек, знака – чтобы возбудить реакцию восприятия: чувства, мысли, ассоциации; и форма, и содержание – уже архаика, их отрицание и преодоление – шаг вперед и вверх, они подразумеваются – но уже не нужны; а вообще понимайте как хотите, вы свободны от навязанных рамок представления, вы тоже художники.

Форма превратилась в знак. Содержание превратилось в расшифровку знака.

Горе в том, что такой квадрат, а также круг, ромб и треугольник может намалевать любой дебил и даже ишак хвостом. Владение ремеслом, искусство живописца, его мысль и чувство – отменяются за излишнейностью. Главное: восприниматель должен знать, что это сделал художник, а не ишак. Формальной разницы нет. Разница в смысле послания. А о смысле мы договариваемся.

Искусство конкурентно. В социокультурном пространстве и на рынке искусства никогда не хватит места для всех. К вершине пирамиды конкуренция ожесточается. И каждый хочет быть первым.

В парадигме модернизма художественные возможности мастера и шарлатана уравниваются. А если вы не можете отличить чай от помоев, то какая вам разница, как справедливо заметил лондонский официант.

Борьба за утверждение своей формы, манеры, содержания, видения мира – заменяется борьбой за утверждение своего знака. За этим знаком – личность, ее образ жизни и мыслей, высказывания и акты привлечения к себе внимания, оценки критиков и вложенные торговцами в раскрутку деньги. Рыночная конкуренция приобретает характер конкуренции торговых знаков.

Знаком определяется рыночная ценность. Уровень престижа и таланта.

Акцент в искусстве смещается с художника на потребителя. Искусство – это то, к чему ты относишься как к искусству.

Чем отличается знак гения от знака осла, если чисто формально они неразличимы? Тем, что сторонними, лежащими вне формы искусства способами, тебе передана информация о том, кто гений, а кто осел.

В таких условиях разница между гением и ослом в искусстве это разница в информационном обеспечении знака. То есть: изобразить черный квадрат может любой дурак, а вот ты заставь людей воспринимать это как искусство.

Плевать, что у меня на холсте, главное – что у тебя в голове. Переход искусства из области объективной формы в область субъективного восприятия.

2. И восхитились Пиросмани. И подняли на щит примитивизм. Какая прелесть.

Примитивист – потому что выше реализма, или потому что не умеет как реалист? А какая вам разница. Реализм одряхлел, окостенел, умер. Имея в виду разницу между фотографической реалией и примитивом, мы вкладываем в этот люфт свое представление о таланте художника, трансформирующего через себя жизнь.

А поскольку форма примитива куда доступнее изготовителю, чем реализм, то в благоприятную рыночную погоду примитивисты плодятся на зависть кроликам. Как издевался Репин над модернистами, не умеющими нарисовать лошадку!

3. Все знают, что Пикассо – первый гений искусства XX века, а Глазунов среди знатоков слышет ремесленником и эпигоном.

И магнаты для своих коллекций покупают из престижа полотна гениев, выкладывая баснословные бабки. Но вот свои портреты норовят заказывать Глазунову, или Шилову, или Никасу Сафронову. Они хотят быть предельно похожими на себя, и при этом красивыми. Свои изображения в форме кубов и шаров их не прельщают.

Нехитрый и вполне техничный нео-романти-реализм этих трех обеспечил им бешеный успех у самого широкого круга воспринимателей искусства. Свистите или аплодируйте – но более знаменитых русских художников сегодня нет.

4. А Крученых сказал: «Дыр, бул, шур!». Литература всегда отставала в освоении новых эстетических горизонтов от живописи, но тоже старалась.

5. Итак, мы имели золотую русскую литературу. Потом имели серебряную русскую литературу. Потом пришел гегемон и все опопшил. Имели нас. А мы имели железную русскую литературу. Не совсем железную, не совсем русскую, не совсем литературу, и не совсем имели. Но все же. Были Катаев, Бабель, Олеша, Ильф и Петров. Был Булгаков. Еще были Всеволод Иванов и Лавренев. Но правый фланг закованных в броню словоносцев возглавляли Горький, Фадеев и Полевой. И ударная шеренга гоплитов (а каково дивное и подходящее слово «гоплит»!..) – подзабытые Кочетов, Марков, Бубеннов, Павленко. И был вечер, и было утро: день вчерашний.

И хрущевская оттепель сменилась брежневским застоєм, и все стали читать как сумасшедшие. Создать лучшего в мире читателя довольно просто: дайте человеку высшее образование, сторублевую зарплату, стандартное жилье, необременительную скучную работенку и отсутствие перспектив. Он побегаёт-побегаёт, попьёт-попьёт, и кому бегать трудно, а пить противно, – начнет читать что ни попади. Так рождаются мифы о великих духовных потребностях. Раз прочие потребности все равно не удовлетворить. О сублимация! О эскейпизм! О книжные полки с дефицитом!

Внутренняя жизнь расцветает, когда другой нет. И обсуждали новинки, и наводили блат в книжных магазинах, и соседствовали Пруст, Кафка и Фолкнер с Тендряковым, Трифоновым и Айтматовым. Они проходили по одной весовой категории.

И будущие олигархи кроили аспирантские зарплаты, будущие бандиты ходили в детские спортивные школы, а будущие политики материли на участках своих работяг. И одни читали «Судьбу барабанщика», а другие – «Долгое прощание». А потом все проскочили в одно бутылочное горлышко и прянули и грянули кто куда и кто во что – во все стороны.

И читать бросили, потому что на свете десять миллионов книг, а в году пять свободных дней. Другие нужды, интересы и перспективы всех растащили. Какой Пруст?! Купить я его всегда могу, и любой может, а кто его читать будет? и когда? а главное – зачем?

Основная, если не вся, энергия отсасывалась уже насущными, реальными делами.

А если читали – то уже каждый свое. Или дюдики – в транспорте и для отдыха, отвлечения.

6. По традиции мы привыкли ставить знак тождества между беллетристикой и вообще литературой. Конкретнее: литература – это беллетристика высоких художественных достоинств. Над вымыслом слезами обольюсь.

Однако Плутарх, «Дневник для Стеллы» Свифта или «Хождение за три моря» – литература: нон-фикшн. Просто сов. беллетристика, за жестокой цензурой печати, была и философией, и историей, и справкой, и мемуаром – общеизвестно.

Итак, прыгнул спрос на документалистику, мемуары, справочники, историю, философию – спрос на реальную информацию. Также опубликовали запрещенное ранее в беллетристике. Также нашлапали американских боевиков и быстро объелись.

И в начале девяностых удивились и взвыли: а современной литературы-то у нас нет! Только что была – а читать нечего. По другую сторону книжного прилавка взвыли писатели: нас не читают! не издают! катастрофа! о падение вкусов! Как дошел лучший в мире читатель до жизни такой? И очень просто: переставляя ноги попеременно.

7. Пожалуй, самой крупной фигурой в русской литературе 70-х был Трифонов. Почему не читают?

Есть нехитрый прием. Вот прекрасная книга о нашей жизни. Мысленно перенеси ее действие из здесь и сейчас на сто лет назад в малоизвестную тебе страну. Если останется хороша и интересна – литература. Если нет – увы.

Что остается? Поэтика. Стыль. Мысль. Чувство. Остаются форма и интеллектуально-эмоциональное содержание. Остается суть. Акцент с реалий снимается. Горькая судьба любимого соседа Васи превращается в судьбу пеона Хуана и перестает волновать.

В королевстве кривых зеркал Трифонов поднес интеллигенции простое зеркало, и она впечатлилась: «Это я, Господи!». Человек особенно внимателен и благодарен, когда ему говорят о нем самом.

Феномен Трифонова не в его текстах, а в резонансе адресата. Чем тише кругом – тем сильнее резонанс. Испытание временем это обнажение сути.

Феномен схода со сцены его книг обусловлен переменной жизни. Блеска стиля, остроты сюжета, глубины мысли, яркости чувства не было. Была вязкость совковой жизни.

8. Вязкость жизни, отраженная вязкостью стиля, вывела из живого обращения прекрасные книги Маканина. Вот уж где были парадоксы мысли и кульбиты сюжета. Но у читателя девяностых уже не стало того ресурса энергии чтения, которая позволяет продираться по глинистой колее под рев мотора на демультипликаторе при четырех ведущих. Энергия пошла на дела жизни. Трудиться над чтением никто больше не хотел.

9. Самым популярным драматургом предперестроечного времени был, пожалуй, Горин. Работал Горин в жанре ремейка с наибольшим успехом. «Мюнхгаузен» в постановке Захарова стал суперхитом.

Хороший ремейк эффектен, изящен и многозначен. Мы смотрим (читаем) одно, одновременно помним другое и подразумеваем третье.

Расцвет ремейка приходится на периоды упадка. Он лишен главного качества литературы – креативности. Созидательного начала. Новые миры духовной жизни не создаются – подразумеваются и обыгрываются старые. Ремейки меняются – основа пребывает.

Талант Горина беспорен. Но в «Мюнхгаузене» он автоматически плюсуется на талант Распэ и воспринимается вкуче с ним. О, сам Распэ был куда проще, куда менее изящен, многозначен и глубок. Вот только Мюнхгаузена построил он и тем остался в литературе.

10. Хрущев мог одобрить публикацию «Ивана Денисовича», потому что там, как ни верти, была народность, и даже была определенная партийность, черт возьми, и были ноты психологического и исторического оптимизма. Как ни крут материал повести, но построена она со знанием и учетом законов социалистического реализма.

Хрущев не мог одобрить ни при какой погоде публикацию колымских рассказов Шаламова. Страшная вещь, где голая правда возведена в степень эстетики. «Не кажется ли вам, что в нашей литературе появился еще один лакировщик», – горько отозвался обойденный успехом Шаламов о первой публикации Солженицына.

И поныне в литературной табели о рангах «Один день Ивана Денисовича» и шаламовские рассказы проходят по разным весовым категориям. Вероятнее всего, уже потому, что новелики по общему вкладу в жизнь нашу их авторы.

11. Австралийское издательство приобрело на Московской ярмарке право по миру на переводы «Детей Арбата» Рыбакова за сто тысяч долларов (тендер!). И потерпело крупные убытки: денег не отбило.

А ведь лучший в мире советский читатель глотал книгу жадно и обсуждал воспаленно.

Перенесите действие в XIX век в Аргентину. Читать будете?

Классика бестселлера: читается легко и увлекательно – через некоторое время невозможно вспомнить содержание. Шел за литературу.

12. И в начале девяностых ситуация с читательским вкусом и спросом была такова: большая часть читать бросила вообще: отвлечение интересов и нужд, занятость, пресыщение, нищета, недостаток энергии для пуска ее в сугубо внутреннюю, условную, духовную жизнь;

в условиях рынка дефицит исчез – как следствие, престиж обладания книгой резко упал;

как следствие возможностей самореализоваться и самоутвердиться через обогащение, обладание материальными благами, карьеру, путешествия – престиж чтения, опять же, резко упал;

читатели расслоились по уровням и интересам: раньше за неимением другого все читали одно, теперь каждый мог получить свое;

трудиться в чтении текста читатель больше не хотел, интерес и способность к этому угасли – направлять мысль и чувство было на что в реальной жизни и помимо литературы;

все информационные функции взяли на себя журналистика и спецлитературы;

– а интересная, легкая в чтении, при этом несущая какие-то мысли и чувства, и вдобавок престижная, освященная оценкой критиков и знатоков – вот такая литература, за исключением самых редких и отдельных случаев, как явление отсутствовала.

Че мала fortuna!

Что же касается эстетического и интеллектуального уровней ожидания от беллетристики – вот тут не надо строить иллюзий, излет и забвение упомянутых кумиров «массово-интеллектуального» читателя показывает, чего от этого читателя следует ожидать. Чтоб было в пределах его понимания – уж какое оно есть, ныне и это облегчено. Чтоб соответствовало его представлению о хорошем и красивом (привет от Глазунова). Чтоб мысли и чувства, но нехитрые, а то трудно. Хороша и новизна формы или содержания, но чтоб явно и не слишком сложно. И чтобы как-то присутствовал на этом знак качества.

Это читатель, для которого Гомер (нечитанный), Шекспир (виденный частично в кино), Пруст (стоящий на полке) и Чингиз Айтматов (запылился, сунут во второй ряд вместе с Тендряковым и Распутиным) шли за продукт равной степени культурности.

То есть имелся читатель, который нормальным образом хотел читать то, что ему хотелось, и чтоб при этом оно, читаемое, было престижно, культурно, литературно, высококачественно. Скажем, Белову, Бондареву, Распутину в этих чертах было отказано по причине политических взглядов. Трифонову, Тендрякову, Гранину из-за устарелости их материала и неинтересности сегодня. Макаину – из-за трудноватости и нудноватости на сегодняшний взгляд. Стругацким – из-за знака «фантастика»: ну, уважающий себя читатель до фантастики не опустится, это для лотков.

Свято место долго не пустует, у Господа нет для нас другого народа и другой литературы, спрос рождает предложение, в любом забеге кто-то идет первым.

13. Читатель не знает, как создаются литературные авторитеты. Он даже не всегда знает слово «серпентарий». В последние годы он наслышан только о раскрутке «дутиков» на эстраде. Частично осведомлен, что короля играет свита. Костюм выбирает по этикетке от престижного дома моделей.

«Жрецы минутного, поклонники успеха». Тоже мне новость.

Астрид Линдгрэн так и прожила девяносто четыре года, не дождавшись Нобелевской премии (а кто ее только ни получал уже!). Булгаков не был членом Союза Писателей. А Гегеля не приняли в Прусскую Королевскую Академию Наук.

Вот и у пчелок с бабочками то же самое.

14. Довлатов – прямой продолжатель Трифонова и Рыбакова, с вытекающими из этого достоинствами и недостатками. С поправкой на время и спрос этого времени, естественно.

«Митьковское» оформление суперобложек знаменитого трехтомника весьма точно соответствовало содержанию, как и отметила критика. То, что «митьки» работали в пост-соц-модерн-киче, отмечать полагали излишним.

Критика пыталась разгадывать феномен Довлатова: ведь все так просто, лаконично, чисто, но ведь никакой сложности, никаких подтекстов и аллюзий, нехитрое бытописание, ну – с юмором и иронией: но отчего такое воздействие, притягательность?

Автобиография? Пародия? Исповедальная проза? Отшлифовано до чистоты родниковой воды и пьется легко, как вода?

«Массово-интеллектуальный читатель» в условиях свободного рыночного выбора получил именно то, что хотел. Ни малейшей затрудненности в чтении. Жизнь с ее горькими проблемами. Но в пропорции с иронией и юмором. Один из нас. Плюс имидж художника, ореол гонений, отзывы корифеев и оценка критики. Как шар в лузу – чисто.

Феномен Довлатова – в точном соответствии читательскому вкусу, уровню, ожиданию. Как зеркало русской читательской аудитории. Русский человек на randevу. Анализировать следовало не формально текст, а читательскую реакцию.

Литературное произведение есть объект социокультурного пространства, и поэтический анализ без психологического и социологического, как анатомия без физиологии, недостаточен для объяснения происходящего.

Будь прост, и люди к тебе потянутся. Но не настолько прост, чтоб они чувствовали себя умнее тебя. Не напрягай!

15. Когда мне попадались высокоумные рецензии на роман Лимонова «Это я, Эдичка», я мысленно аплодировал автору. Его расчет был точен сверх ожиданий.

Лимонов создал условно-автобиографический, бытовой, описательный текст без каких бы то ни было видимых литературных (беллетристических) достоинств. Язык, сюжет, детали, психологизм решительно вялы и заурядны. Но циничная откровенность и грязнотца – «Шок – это по-нашему!» – это было нечто из ряда вон выходящее. Это сделало роман явлением.

Так: явление? литературное? анализируем по законам литературоведения. Достоинства как результат анализа заданы самими условиями задачи: литературное явление. Любому ясно, что литературного явления без литературных достоинств не бывает. Фрейд, Бахтин, Руссо, Достоевский: психоанализ, карнавальная культура, исповедь, подвалы сознания.

Так находятся литературные достоинства в любом матерном рассказе про неопрятный половой контакт.

Для такой литературы достаточно самых средних способностей, но необходима нравственная храбрость. Примерно как средний танцовщик на сцене стянул бы колготки и дотанцевал балет голым, помахивая гениталиями. Это слава – а смысл найдут критики; разглядят и зрители, коли это сцена театра, а не душевая.

Знак нравственной незаурядности становится для простодушного читателя знаком литературы: а как же! дело ведь не в том, кто там голик, а в том, что он об этом написал литературное произведение!

Овладеть искусством минета проще, чем искусством литературы.

И для писателя проще, и для читателя.

Хотели шокинг? Получили шокинг. Пощечина общественному вкусу. Что за знакомая фраза? А проза – это все, что не поэзия.

16. Человек разносторонних увлечений – поэт, портной, эмигрант, авантюрист, журналист, политик, революционер, заключенный – Лимонов в «Эдичке» взломал табу единоразово. Этап жизни. Джентльмен в поисках шутики баксов.

Сорокин сделал из взлома табу профессию и оформил литературный жанр под эту профессию.

Эстетическую нагрузку в его текстах несут фекалии, гениталии, подробности садизма и мазохизма, всевозможные формы убийств и половых извращений – и мат. То, о чем не принято говорить, чего не принято делать и о чем человек обычно не может помыслить. И это читателя впечатляет. Противно, но притягивает. Правда, большинству противно, – и отталкивает.

Сорокин сегодня один из самых модных и известных русских писателей.

Уберите все взломы табу из его текстов – и от текстов ничего не останется. Исчезнет смысл и суть. Останется серое текстовое полотно из заурядных фраз.

Есть писатель-сатирик и писатель-юморист. Юмористически-сатирическая составляющая в тексте доминирует и придает ценность. Создать неюмористический качественный текст он не может – останется заурядность. Таков характер дарования.

Точно так же писатель-детективщик не может написать незаурядный роман без детективной составляющей. Останется неинтересное. Детективная основа – главная ценность его текста.

Они обижаются на классификационное ограничение по жанру и хотели бы считаться «просто писателями». Но «просто» и незаурядно они не могут. Возможности стиля, экспрессия, оригинальность мысли и подхода, владение деталью, яркость изображения чувств не позволяют; над средним уровнем не поднимаются. Они потому чего-то и стоят, что умеют залузить сюжет с убийствами. Это их самая сильная сторона. За то их и ценят.

Появился писатель-детабуировщик. Строго говоря, это ограничение по жанру.

Вне своих взламываемых табу Сорокин ничего незаурядного не может: не дал оснований для каких-либо подозрений в обратном. Но воспринимается читательской и критической аудиторией (пусть с руганью, тем лучше для скандального писателя полярный разнобой мнений) по ведомству «литературы вообще».

Да: взлом табу привлекает внимание. Но тогда взломщика сейфов мы должны считать бизнесменом. Деньги он добывает, а взломать сейф может не каждый. Но это в жизни не каждый. А на бумаге – пожалуйста.

Трудно написать роман «под Булгакова» или рассказ «под Бунина». Талант и мастерство потребны. Трудно написать даже стихи «под Губермана» или «под Иргеньева» – хорошее чувство юмора не всем дано. И даже трудно сделать дюдик «под Маринину» или Дашкову – сюжет свинтить тоже уметь надо.

Для писания «под Сорокина» нужно мысленное отсутствие всякой брезгливости и следование фантазиям в направлении нарушений всех приличий и запретов. Уровень прочего достаточен средний.

Тексты Сорокина деструктивны. Построены на разрушении, разламывании личностных и моральных ценностей.

Но мы поднаторели в расшифровке знака и умеем найти психологические глубины, стилистический блеск и семантическую многозначность в трехбуквенном слове на заборе. И мы имеем ту литературу, которой заслуживаем: которую воспринимаем за таковую.

17. Я уважаю Александра Бреннера – честнейшего из постмодернистов. Присесть под картиной на выставке и испражниться – логическое завершение пути искусства XX века. Здесь и протест, и противопоставление естественного искусственному, и органичность формы в неразрывном единстве с содержанием, и креативный акт, и взлом устаревших запретов и норм,

и противостояние творца толпе, и свобода художника. Аплодисменты Бреннеру! Вам нравится «Черный квадрат»? Нюхайте кучу. Хотели – получили.

18. Не то беда, что мастерство художника заменилось мастерством адресата. А то беда, что поднаторевший в раскодировке знака адресат зауживал себя и стал объявлять искусством любой подвернувшийся эпохе и ожиданию хлам «не просто так», по принципу «а мне нравится, и все» – но подбивая базу высокоумных слов и псевдонаучных понятий.

А мальчика, который сказал, что король голый, надобно отправить на конюшню и посечь, приговаривая: «Не пиши! Не пиши!»

Наконец-то тот «возомнивший о себе хам», о котором бессильно писала Гиппиус и бессильно шептал слесарь Полесов, не только получил искусство по себе – но и возможность утверждать это как искусство истинное и «элитарное» либо «универсальное».

19. Борис Акунин – блестящее подтверждение того, что «массово-интеллектуальный» читатель хотел бы читать бульварно-лубочные дюдики с «бла-ародными» героями, но, во-первых, чтоб это было хоть сколько-то прилично написано, а во-вторых, чтоб это было не зазорно, а присутствовал «знак качества». Об этом уже много писали.

Писали и о том, что если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.

Эраст Фандорин – вот он, герой, о котором мечтала беденькая девушка Настя из пьесы «На дне». На дне оказалась великая куча народу, а некоторые девушки насти выбились в критики и раздаватели литературных титулов. Мы и не заметили, как нас опустили – на дно. А может, мы там всегда жили, просто воли вкусу не давали?

Если угостить белку конфетой, она сначала развернет фантик. А вот к пустышке не притронется. Чует. Мы – высокоразвитые, живем не чутьем, а умом, и хаваем фантики только так.

Объясняем друг другу, что это такие воздушные конфеты. Диетические. От них не толстеют и не бывает кариеса.

Откровенная и нарочитая вторичность акунинских романов уподобляет их бутафорским фруктам. Но гурманов мало, а чего-то аппетитного засунуть в желудок охота всем. Какая разница, чем истекает Пьеро – клюквенным соком, или вишневым вареньем, как в нашем кино, или кетчупом, как в ихнем.

«А пипла хаваает!» – гениально ответил Богдан Титомир.

20. Идет время, и обнаруживается все больше хороших старых фильмов. Даже те, что казались при выходе плоскими и убогими, неплохо же смотрятся все чаще! Боже, да там каждую мизансцену решали. И ставили. И играли. И были хоть какие, пусть лживые – но образы. Сегодня манекены ходят куда указано и говорят что велено. И проходят фестивали, и раздаются призы.

То, что кино в упадке – оно логично и объяснимо. То, что такое убогое кино многим кажется искусством и способно вызывать серьезные разговоры – вот что печально.

Безвоздушное пространство, сконструированные отношения, беглые наборы штампов вместо характеров, «подача текста» вместо игры.

Покажи мне свое искусство – и я скажу, кто ты. Ну, бедный. Так хоть не позорься, рассуждая о богатстве своей нищеты.

21. Вы хотели доступного искусства, но чтоб при этом уважать себя за высоколостью? Хотели проще, но чтоб за этим подразумевалась необременительная для вас сложность, и чтоб было вам хорошо и по вкусу? Макулатуру для быдла и знак для элиты?

И вот вам знак – телешоу «за стеклом». Высочайший рейтинг.

Это для вас они за стеклом. А для них – весь народ за стеклом.

Закономерный путь искусства от черного квадрата – через примитив, мат и вторичность – к стеклянному кубу.

Бульжник мне!

Вначале и в конце

Гуру

– Бесконечная мера вашего невежества – даже не забавна...

Такова была первая фраза, которую я от него услышал, – подножка моей судьбе, отклоненной им с предусмотренного пути.

Но – к черту интимные подробности.

Я всем ему обязан. Всем.

Теперь не узнать, кем он был на самом деле. Он любил мистифицировать. Весьма.

Я приходил с бутылкой портвейна и куском колбасы, или батоном, или пачкой пельменей, или блоком сигарет в его конуру. И прежде, чем мой палец касался дверного замка, из самоуверенного, удачливого, хорошо одетого, образованного молодого человека превращался в того, кем был на самом деле – в шенка. Он был – мастер и мэтр, презревший ремесло с горних высот познания. Он был мудрец; я – суетливый и тщеславный соплик.

Он презирал порядок, одежду, репутацию и вообще людское мнение, презирал деньги – но кичливую нищету презирал еще больше. Добродетель и зло не существовали для него: он был из касты охотников за истиной. Не интересуясь фарсом законных новостей, он промывал ее крупницы, как золотоискатель в лотке.

Золотой песок своих истин он расшвыривал горстями равнодушного сеятеля направо и налево, рассчитываясь им за все.

Эта валюта имеет ограниченное хождение. Его жизнь можно было бы назвать историей борьбы, если б это не была история избиений. Изломанный и твердый, он напоминал саксаул.

Он распахивал дверь, и его дальнзоркие выцветшие глазки щурились с отвагой и презрением на меня и сквозь – на внешний мир. Презрение уравнивало чашу весов его мировоззрения: на другой покоилась отвергнутая миром любовь. Я понял это позже, чем следовало.

Он принимал мои дары, как хозяин берет покупки у посланного в магазин соседского мальчишки, когда домработница больна. Каждый раз я боялся, что он даст мне на чай, – я не знал, как повести себя в таком случае.

Пижоня старческой брюзгливостью, он молча тыкал пальцем в вешалку, после – в дверь своей комнаты: я получал приглашение.

В комнате он так же тыкал в допотопный буфет и в кресло: я доставал стаканы и садился.

Он выпивал стакан залпом, закуривал, и в бесформенной массе старческого лица проступали, позволяя угадывать себя, черты – жесткие и несчастные. Он был из тех, кто идет до конца во всем. А поскольку все в жизни, живое, постоянно меняется, то в конце концов он в своем неотклонимом движении всегда заходил слишком далеко и оказывался в пустоте. Но в этой пустоте он обладал большим, чем те, кто чутко следуют колебаниям действительности. Он оставался ни с чем – но с самой сутью действительности, захваченной и законсервированной его едким сознанием; и ничто уже не могло в его сознании эту суть исказить.

– Мальчик, – так начинал он всегда свои речи, – мальчик, – вкрадчиво говорил он, и поколебленный его голосом воздух прогибался, как мембрана, которая сейчас лопнет под неотвратимым и мощным напором сконцентрированных внутри него мыслей, стремительно расширяющихся превращаясь в слова, как превращающийся в газ порох выбивает из ствола снаряд и тугим круглым ударом расширяет воздух.

– Мальчик, – зло и оживленно каркал он, и втыкал в меня два своих глаза ощутимо, как два пальца, – не доводилось ли тебе почитать такого мериканского письменника, которого звали Эдгар Аллан По? Случайно, может?

Я отвечал утвердительно – не боясь подвоха, но будучи в нем уверен и зная, что все равно окажусь в луже, из которой меня приподнимут за шиворот, чтоб плюхнуть вновь.

– Так вот, мальчик, – продолжал он, и по едва заметному жесту я улавливал, что надо налить еще. Он выпивал, вставал, – и больше не удостоивал меня взглядом в продолжении всех слов. Плевать ему было на меня. Я был – внешний мир. Я был – контактная пластина этого мира. К миру он обращался, не больше и не меньше.

– Все беды от невежества, – говорил он. – А невежество – из неуважения к своему уму. Из счастья быть бараном в стаде.

– Невежество. Нечестность. Глупость. Подчиненность. Трусость. Вот пять вещей, каждая из которых способна уничтожить творчество. Честность, ум, знание, независимость и храбрость – вот что тебе необходимо развить в себе до идеальной степени, если ты хочешь писать, мальчик. Те, кого чествуют современники – не писатели. Писатель – это Эдгар Аллан По, мальчик, – и он клал руку на корешок книги с таким выражением, как если б это было плечо мистера Э.А. По. Он актерствовал, – но прокручивая в голове эти беседы, я не находил в его актерстве отклонений от истины. Может, это мы актерствуем всякий раз, когда отклоняемся от ответственности порыва?

– О честности, – говорил он, и голос его садился и сипел стершейся иглой, не способный выдержать накал исходящей энергии, – энергии, замешанной на познании, страдании, злости. – Ты обязан отдавать себе абсолютный отчет во всех мотивах своих поступков. В своих истинных чувствах. Не бойся казаться себе чудовищем, – бойся быть им, не зная этого. И не думай, что другие лучше тебя. Они такие же! Не обольщайся – и не обижайся.

Тогда ты поймешь, что в каждом человеке есть все. Все чувства и мотивы, и святость и злодейство.

Это все – хрестоматийные прописи. Ты невежествен, – и я не виню тебя в этом. Ты должен был знать это все в семнадцать лет, хотя понять тогда еще не мог бы. Но тебе двадцать четыре! что ты делал в своем университете, на своем филфаке, скудоумный графоман?! – И его палец расстреливал мою переносицу. Я вжимался в спинку кресла и потел.

– Без честности – нет знания. Нечестный – закрывает глаза на половину в жизни.

Наши чувства, наша система познания, восприятия действительности – как хитрофокусное стекло, сквозь которое можно видеть невидимую иначе картину мира. Но есть только одна точка, из которой эта картина видится неискаженной, в гармоничном равновесии всех частей – это точка истины. Точка прозрения в абсолютной честности, вне нужд и оценок.

Не бойся морали. Бойся искажения картины. Ибо при малейшем отклонении от точки истины – ты видишь – и передаешь – не трехмерную картину мира, а лишь ее двухмерное – и хоть каплю, да искаженное, – отображение на этом стекле, искусственном экране невежественного и услужливого человеческого мозга. Эпоха и общество меняют свой угол зрения – и твое изображение уже не похоже на то, что когда-то казалось им правдой. А трехмерность, истина, – то и дело не совпадает с тем, что принято видеть, – но всегда остаются; колебания общего зрения не задевают их, они же корректируют эти колебания.

Поэтому никогда не общайся с людьми, которые вопрошают: «А зачем об этом писать?» – подразумевая, что писать надо в некоей сбалансированной разумом пропорции, преследуя некие известные им цели. Такие люди неумны, нечестны и невежественны. Что ты знаешь о биополях? А о пране? о йоге? Не разряжай своей энергии, своей жизненной силы в никуда, контактируя с пустоцветом и идиотами.

– Искусство, мальчик, – он пьянел, отмякал, отрешался, – искусство – это познание мира, вот и все. Что с того, что во многих мудрости много печали. Что, и Экклезиаста не читал? серый штурмовичок... крысенок на пароходе современности... Духовный опыт человечества – вот что такое искусство. Анализ и одновременно учебник рода человеческого. Это тот оселок, на котором человечество оформляет и оттачивает свои чувства – все! Весь диапазон! На котором

человечество правит свою душу. Вся черная грязь и все сияющее благоухание – удел искусства – как и удел человечества. Познание – удел человечества. Счастье? Счастье и познание – синонимы, мальчик, слушай меня. Это все банально, но ты запоминай, юный невежда. Ты молод, душа твоя глупа и неразвита, хотя и чувствительна, – ты не поймешь меня. Поймешь потом.

Я пил вино и пьянел. Он попеременно казался мне то мудрецом, то пустым фразером. Логика моего восприятия рвалась, не в силах подхватить стремительную струю крепчайшей эссенции, как мне казалось, его мыслей.

– Публика всегда аплодирует профессионально сделанной ей на потребу халтуре. Шедевры – спасибо, если не отрицая их вообще при появлении, – она не способна отличить от их жалких подобию. Зрение ее – двухмерно! А остаются – только шедевры! Художник – увеличивает интеллектуальный и духовный фонд человечества. Зачем? А зачем люди на этой планете? Только невежество задает такие глупые вопросы...

Ты не слышал об опытах на крысах? Первыми осваивают новые территории «разведчики». По заселении устанавливается жесткая иерархия, а «разведчиков» – убивают. «Так создан мир, мой Гамлет...» А Икар все падает, и все летит: не в деньгах счастье, не хлебом единым, живы будем – не помрем.

Он допивал вино и, снова повинувшись неуловимому желанию, шел на кухню заваривать чифир. Он не употреблял кофе – он пил чифир. Он говорил, что привык к нему давно и далеко, и произносил длинные рацеи о преимуществе чая перед кофе.

Чифир обозначал конец «общей части» и переход к «литературному мастерству». Он заявлял, что я самый паршивый и бездарный кандидат в подмастерья в его жизни. И, что обиднее всего – видимо, последний. В этом он оказался прав бесспорно – я был последним...

– Мальчишка, – говорил он с невыразимым презрением, и на лице его отражалось раздумье – стошнить или прилечь и переждать. – Мальчишка, он полагает, что написал рассказ лучше вот этого, – он потрясал журналом, словно отрубленной головой, и голова бесславно летела в угол с окурками и грязными носками.

– Шедевры! – ревел он. – По – писатель! Акутагава – писатель! Чехов – писатель! И выбрось всю дрянь с глаз и из головы, если только тебя не устраивает перспектива самому стать дрянью!

И заводил оду короткой прозе.

– Вещь должна читаться в один присест, – утверждал он. – Исключения – беллетристика: детектив, авантюра, ах-любовь. Оправдания: роман-шедевр, по концентрации информации не уступающий короткой прозе. Таких – несколько десятков в мировой истории.

Концентрация – мысли, чувства, толкования! Вещь тем совершеннее, чем больше в ней информации на единицу объема! чем больше трактовок текста она допускает! Настоящий трехмерный сюжет – это всегда символ! Настоящий сюжетный рассказ – всегда притча!

Материал? Осел! Шекспир писал о Венеции, Вероне, Дании, острове, которого вообще не было. А По? А Акутагава? Мысль!! – лежит в основе, и ты оживляешь ее адекватным материалом. Ты обязан знать, видеть, обонять и осязать его, – но не обязан брать из-под ног. Бери где хочешь. Все времена и пространства – сущие и несуществующие – к твоим услугам. Это азбука! – о невежество!..

Он дирижировал невидимому чуткому оркестру:

– Процесс создания вещи состоит из следующих слоев: отбор наиболее подходящего, выигрышного, сильнейшего материала; организация этого материала, построение вещи, композиция; изложение получившегося языковыми средствами. Этот триединый процесс оплодотворяется мыслью, надьдеей, которая и есть суть рассказа. Пренебрежение одним из четырех перечисленных моментов уже не даст появиться произведению действительно литературному.

Хотя! – он взмахивал обтерханными рукавами, и оркестр сбивался, – хотя! – доведение до идеала, открытия, лишь одного из четырех моментов уже позволяет говорить об удаче, таланте и так далее. Но только доведение до идеала всех четырех – рождает шедевр.

Каждая буква должна быть единственно возможной в тексте. Редактирование – для распустех и лентяев, вечных стажеров. Не суетись и не умствуй: прослушивай внимательно свое нутро, пока камертон не откликнется на истинную, единственную ноту.

Не нагромождай детали – тебе кажется, что они уточняют, а на самом деле они отвлекают от точного изображения. Каждый как-то представит себе то, о чем читает, твое дело – задействовать его ассоциативное зрение одной-двумя деталями. Скупость текста – это богатство восприятия, дорогой мой.

Записывать мне было запрещено. Он – открывал себя миру и не желал отчуждения своих истин в чужом почерке.

Я жульничал. В соседнем подъезде закидывал закорючками листки блокнота, чтоб дома перенести в амбарную книгу полностью. Иногда при этом казался себе старательным тупицей, зубрящим правила в надежде, что они откроют секрет успеха.

– У мальчика подвешен язык, – язвил он. – У мальчика стоят мозги – и то ладно. Импотент от творчества не способен оплодотворить материал – он в лучшем случае описатель. Творческий командированный. Приехал и спел, что он видел. Дикари!!.. Кстати, таким был и Константин Георгиевич. А ты не хай, сопляк, сначала поучись у него описывать чисто и красиво. Момент не достаточный, но в общем не бесполезный.

Он затягивался, втягивал глоточек чифира и выдыхал дым. И высекал:

– Первое. Научись писать легко, свободно – и небрежно – так же, как говоришь. Не тужься и не старайся. Как бог на душу положит. Обычный устный пересказ – но в записи, без сокращений.

Второе. Пиши о том, что рядом, что знаешь, видел и пережил. Точнее, подробнее, размашистее.

Третье. Научись писать длинно. Прикинь нужный объем и пиши втрое длиннее. Придумывай несуществующие, но возможные подробности. Чем больше, тем лучше. Фантазируй. Хулигань.

Четвертое. А теперь ври напропалую. Придумывай от начала и до конца; начнет вылезать и правда – вставляй и правду. Верь, что это так же правдоподобно, как и то, что ты пережил. То, что ты нафантазировал, ты знаешь не хуже, чем всамделишное.

С демонстративным отвращением он перелистывал приносимые мной опусы, кои и порхали в окурочно-носочный угол как дохлые уродцы-голуби, неспособные к полету.

– Так. Первый класс мы окончили: научились выводить палочки и крючочки. Едем дальше, о мой ездун:

Пятое! Выкидывай все, что можно выкинуть! Своди страницу в абзац, а абзац – в предложение! Не печалься, что из пятнадцати страниц останутся полторы. Зато останется жилистое мясо на костях, а не одежды на жирке.

Шестое. Никаких украшений! Никаких повторов! Ищи синонимы, заменяй повторяющееся на странице слово чем хочешь! Никаких «что» и «чтобы», никаких «если» и «следовательно», «так» и «который». По-французски читаешь? Ах, пардон, я забыл, каких садов ты фрукт и продукт. Читай «Мадам Бовари» в Роммовском переводе. Сто раз! С любого места! Когда сумеешь подражать – двинешься дальше.

В голосе его мне впервые услышалось снисхождение верховного жреца к щенку на ступеньках храма.

Началось мордование. Я перестал спать. Болело сердце и весь левый бок. Я вскакивал ночью от удушья. Зима кончалась.

– Отработка строевого шага в три темпа, – издевался он. – Что, не нравится писать просто, а?

Я преступно почитывал журналы и ужасался. Я хотел печататься и заявлять о себе. Но течение несло, и я не сопротивлялся: туманный берег обещал невообразимые чудеса – если я не утону по дороге.

В апреле я принес четыре страницы, которые не вызвали его отвращения.

– Так, – констатировал он. – Второй класс окончен. Небыстро. Не совсем бездарь, хм... задатки прорезались...

Наверное, я нажил нервное истощение, потому что чуть не заплакал от любви и умиления к нему. Старый стервец со вкусом пукнул и поковырялся в носу.

Допив портвейн, он поведал, что сейчас – еще в моей власти: бросить или продолжать; но если не брошу сейчас – человек я конченный.

Я, почувствовав в этом посвящение, отвечал, что уже давно – конченный, умереть под забором сумею с достоинством, и сорока пяти лет жизни мне вполне хватит.

В мае я принес еще два подобных опуса.

– Не скучно работать одинаково?

– Скучно...

– Элемент открытия исчез... Ладно...

– Седьмое! – он стукнул кулаком по стене. – Необходимо соотношение, пропорция между прочитанным и прожитым на своей шкуре, между передуманным и услышанным от людей, между рафинированной информацией из книг и знанием через ободранные бока. Пошел вон до осени! И катись чем дальше, тем лучше. В пампасы!

Я плюнул на все, бросил работу и поехал в Якутию – «в люди».

Память у него была – как эпоксидная смола: все, что к ней прикасалось, кристаллизовалось навечно:

– Восьмое, – спокойно сказал он осенью. – Наляжем на синтаксис. Восемь знаков препинания способны сделать с текстом что угодно. Пробуй, перегибай палку, ищи. Изменяй смысл текста на обратный только синтаксисом. Почитай-ка, голубчик, Стерна. Лермонтова, которого ты не знаешь.

Я налегал. Он морщился:

– Не выпендривайся – просто ищи верное.

Продолжение последовало неожиданно для меня.

– Девятое, – объявил он тихо и торжественно. – Что каждая деталь должна работать, что ружье должно выстрелить – это ты уже знаешь. Слушай прием асов: ружье, которое не стреляет. Это похитрее. Почитай-ка внимательно Акутагаву Рюноскэ-сан, величайшего мастера короткой прозы всех времен и народов; один лишь мистер По не уступает ему. Почитай «Сомнение» и «В чаше». Обрати внимание на меч, который исчез неизвестно куда и почему, на отсутствующий палец, о котором так и не было спрошено. Акутагава владел – на уровне технического приема! – величайшим секретом, юноша: умением одной деталью давать неизмеримую глубину подтексту, ощущение неисчерпаемости всех факторов происходящего... – он закашлялся, сломился, прижал руки к груди и захрипел, опускаясь.

Я заорал про нитроглицерин и перевернув кресло ринулся в коридор к телефону. Вызвав «скорую» – увидел его землисто-бледным, однако спокойным и злым.

– Еще раз запаникуешь – выгоню вон, – каркнул он. – Я свой срок знаю. Иди уже, – добавил с одесской интонацией, сопроводив подобающим жестом.

С приемом «лишней детали» я мучился, как обезьяна с астролябией. Безнадежно...

– Не тушуйся, – каркал наставник. – Это уже работа по мастерам. Ты еще не стар.

И подлил масла в огонь, уничтожающий мои представления о том, как надо писать:

– Десятое. Вставляй лишние, ненужные по смыслу слова. Но чтоб без этих слов – пропал вкус фразы. На стол клади «Мольера» Михаила Афанасьевича.

И жезлообразный его палец пустил несправедное движение моей жизни в очередной поворот, столь похожий на откос. По старому английскому выражению, «я потерял свой нерв». В марте, через полтора года после начала этого самоубийства, я пришел и сказал, что буду беллетристом, а еще лучше – публицистом. И поднял руки.

– Одиннадцатое, – холодно вымолвил мой Люцифер. – Когда решишь, что лучше уже не можешь, напиши еще три вещи. Потом можешь вешаться или идти в школьные учителя.

Все кончилось в мае месяце. Хороший месяц – и для начала, и для конца любого дела.

– Молодой человек, – обратился он на «вы». – У вас есть деньги?

Денег не было давным-давно. Я стал люмпеном.

– Мне наплевать. Украдите, – посоветовал он. – Придете через час. Принесите бутылку хорошего коньяку, двести граммов кофе, пачку табаку «Трубка мира» и самую трубку работы лично мастера Федорова, коя в лавке художника стоит от тринадцати до сорока рублей. Не забудьте лимон и конфеты «Каракум».

Восемь книг я продал в подворотне букинистического на Литейном. Камю, Гамсуна и «Моряка в седле» я с тех пор так и не возместил.

Лимон пришлось выпрашивать у заведующей столом заказов «Елисейского».

– Вот и все, молодой человек, – сказал он. – Учить мне вас больше нечему.

Я не сразу сообразил, что это – он. Он был в кремовом чесучовом костюме, голубой шелковой сорочке и черно-золотом шелковом галстуке. На ногах у него были бордовые туфли плетеной кожи и красные носки. Он был чистейше выбрит и пах не иначе «Кельнской водой №17». Передо мной сидел аристократ, не нуждавшийся в подтверждении своего аристократизма ежедневной публикой.

Благородные кобальтовые цветы на скатерти белее горного снега складывались из букв «Собственность муниципала Берлина, 1900». Хрустальные бокалы зазвенели, как первый такт свадьбы в королевском замке.

– Мальчишкой я видел Михаила Чехова, – сказал хозяин, и я помертвел: я не знал, кто такой Михаил Чехов. – Я мечтал всю жизнь о литературной студии. Не будьте идеалистом, мне в высшей степени плевать на все; просто – это, видимо, мое дело.

Не обольщайтесь, – он помешал серебряной ложечкой лимон в просвечивающей кофейной чашке. – Я не более чем дал вам сумму технических приемов и показал, как ими пользуются. Кое на что раскрыл вам глаза, закрытые не по вашей вине. Сэкономил вам время, пока еще есть силы. С толком ли – время покажет...

В его присутствии сантименты были немислимы; уже потом мне сделалось тоскливо ужасно при воспоминании об этом прощании.

Сколько породы и истинной, безрекламной значительности оказалось в этом человеке!.. Он мог бы служить украшением любого международного конгресса, честное слово. Эдакий корифей, снизошедший запросто на полчаса со своего Олимпа.

Он потягивал коньяк, покачивал плетеной туфлей, покуривал прямую капитанскую трубку. И благодушно давал напутственные наставления.

– Читайте меньше, перечитывайте больше, – учил он. – Четырех сотен книг достаточно профессионалу. Когда классический текст откроет вам человеческую слабость и небезгрешность автора – вы сможете учиться у него по-настоящему.

– Читая, всегда пытайтесь улучшать. Читайте медленно, очень медленно, пробуйте и смакуйте фразу глазами автора, – тогда сможете понять, что она содержит, – учил он.

– Торопитесь смолоду. Слава стариков стоит на делах их молодости. Возрастом пика прозаика можно считать двадцать шесть – сорок шесть; исключения редки. Вот под пятьдесят и займетесь окололитературной ерундой, а раньше – жаль.

...Позже, крутясь в литературской кухне, я узнал о нем много – все противоречиво и малоправдоподобно. Те два года он запрещал мне соваться куда бы то ни было, натаскивал, как тренер спортсмена, не допускаемого к соревнованиям до вхождения в форму.

– Умей оттащить себя за уши от работы, – учил он. – Береги нервы. Профессионализм, кроме всего прочего – это умение сознательно приводить себя в состояние сильнейшего нервного перевозбуждения. Задействуются обширные зоны подсознания, и перебор вариантов и ходов идет в бешеном темпе.

(– Кстати, – он оживлялся, – сколь наивны дискуссии о творчестве машин, вы не находите? Дважды два: познание неисчерпаемо и бесконечно, применительно к устройству человек – также. Мы никогда не сможем учесть – а значит, и смоделировать – механизм творческого акта с учетом всех факторов: погоды и влажности воздуха, ревматизма и повышенной кислотности, ощущения дырки от зуба, даже времени года, месяца и суток. Наши знания – «черный ящик» – ткни так – выйдет эдак. Моделируем с целью аналогичного результата. Начинку заменяем, примитивизируя. Шедевр – это нестандартное решение. Компьютер – это суперрешение суперстандарта, это логика. Искусство – надлогика. Другое дело – новомодные теории типа «Каждый – творец» и «Любой предмет – символ»; но тут и УПП слепых Лувр заполнит, зачем ЭВМ. Нет?)

– Художник – это турбина, через которую проходит огромное количество рассеянной в пространстве энергии, – учил он. – Энергия эта являет себя во всех сферах его интеллектуально-чувственной деятельности; собственно, сфера эта едина: мыслить, чувствовать, творить и наслаждаться – одно и то же. Поэтому импотент не может быть художником.

Он величественно воздвигся и подал мне руку. Все кончилось.

Но на самом деле все кончилось в октябре, когда я вернулся с заработков на Северах, проветрив голову и придя в себя. Неделю я просаживал со старыми знакомыми часть денег, а ему позвонил второго октября, и осталось всегда жалеть, что только второго.

Тридцатого сентября его увезли с инфарктом. Через сорок минут я через справочные вышел по телефону на дежурного врача его отделения и узнал, что он умер ночью.

Родни у него не оказалось. В морге и в его жилконторе мне объяснили, что необходимо сделать, если я беру это на себя.

Придя с техником-смотрителем, я взял ключ у соседей и с неловкостью и стыдом принялся искать необходимое. Ничего не было. Все, что полагается, я купил в ДЛТ, а на Владимирском заказал венок и ленту без надписи. Вряд ли ему понравилась бы любая надпись.

Зато в низу буфета нашел я пачищу своих опусов, аккуратно перевязанную. Они были там все до единого. И еще четыре пачки, которые я сжег во дворе у мусорных баков.

А в ящике письменного стола, сверху, лежал конверт, надписанный мне, с указанием вскрыть в день тридцатилетия.

Я разорвал его той же ночью и прочитал:

«Не дождался, паршивец? Тем хуже для тебя.

Ты не Тургенев, доходов от имения у тебя нет. Профессионал должен зарабатывать. Единственный выход для таких, как ты, – делать халтуру, не халтура. Тем же резцом! Есть жесткая связь между опубликованием и способностью работать в полную силу. Работа в стол ведет к деградации. Кафка – исключение, подтверждающее правило. Булгаков – уже был Булгаковым. Ограниченные лишь мифологическими сюжетами – были, однако, великие художники. Надо строить ажурную конструкцию, чтобы все надолбы и шлагбаумы приходились на предусмотренные свободным замыслом пустоты: как бы ты их не знаешь.

А иначе приходит ущербное озлобление. Наступает раскаяние и маразм.
„Он бездарь! Я могу лучше!“ А кто тебе не велел?.. Раскаяние и маразм!»

Несколько серебряных ложек, мейсенских чашек и хрустальных бокалов оказались всеми его ценностями. Потом я долго думал, что делать с тремя сотнями рублей из коммисионок, не придумал, на памятник не хватило, и я их как-то спустил.

Ночью после похорон я опять листал две амбарные книги, куда записывал все слышанное от него.

«Учти „хвостатую концовку“, разработанную Бирсом.»

«Выруби из плавного действия двадцать лет, стыкуй обрезы – вот и трагическое шемление.»

«Хороший текст – это закодированный язык, он обладает надсмысловой прелестью и постигается при медленном чтении.»

«Не бойся противоречий в изложении – они позволяют рассмотреть предмет с разных сторон, обогащая его.»

«Настоящий рассказ – это закодированный роман.»

«Короткая проза еще не знала мастера контрапункта.»

И много еще чего. Все равно не спалось.

День похорон был очень какой-то обычный, серый, ничем не выдающийся. И он лежал в гробу – никакой, не он; да и я знаю, как в морге готовят тело к погребению...

Звать я никого не хотел, заплатил, поставили гроб в автобусе и я сидел рядом один.

Северное кладбище, огромное индустриализованное усыпальище многомиллионного города, тоже к размышлениям о вечности не располагало в своем деловом ритме и в очередях у ворот и в конторе.

Мне вынесли гроб из автобуса и поставили у могилы. Я почему-то невольно вспомнил, как Николай I вылез из саней и один пошел за сиротским гробом нищего офицера; есть такая история.

Прямо странно слегка, как просто, обыденно и неторжественно все это было. Будто на дачу съездить. Но когда я возвращался с кладбища, мне казалось, что я никогда ничего больше не напишу.

А может, я и не прав

Свою литературную судьбу я считаю начавшейся с того момента, когда во время прохождения лагерных сборов от военной кафедры университета я пошел на риск первой публикации и написал рассказ в ротную стенгазету. Сей незатейливый опус, решительно не имевший значительных литературных достоинств, тем паче опубликованный в весьма малоизвестном издании тиражом одна штука, вызвал неожиданный резонанс. В рассказе я не до конца одобрительно отзывался о некоторых моментах курсантского внутреннего распорядка, как-то: строевая подготовка, строевая песня, надраивание сапог перед едой и т. д. Из редакционных соображений отрицательное мое к этому отношение было по форме облечено в панегирик, где желаемый эффект достигался гипертрофией восхвалений. Прием это старый, азбучный: восхваления достигали такого количества, что переходили, нарушая меру, в противоположное качество, – что и требовалось.

Курсанты-студенты тихо радовались содержанию, а офицеры кафедры тихо радовались форме (возможно, они не обладали столь изощренным диалектическим чувством меры, как изощренные гуманитары – историки и филологи). Этот литературный экзерсис по-своему может расцениваться как идеальный случай в искусстве, где каждый находит в произведении именно то, что родственно ему.

Но – скрытые достоинства искусства из достояния элиты рано или поздно становятся всеобщим достоянием, или, по крайней мере, доводятся до всеобщего сведения. Миссия просветителя пала на одного майора, волею судьбы закончившего вместо военного училища университет. Он открыл тот аспект искусства, который предназначался вовсе не ему, а когда человек сталкивается в искусстве с тем, что предназначено не ему, он часто впадает в дискомфортное состояние. И возникшее ущемление и раздражение он считает своим долгом разделить с единомышленниками в вопросе, каковым надлежит быть искусству и как оно должно соотноситься с жизнью.

Майор приступил к комментированному чтению. Он подводил офицеров к стенгазете и настойчиво предлагал ознакомиться. Когда читатель заканчивал и недоуменно вопрошал: «Ну и что же?», майор с университетским образованием удовлетворенно и с превосходством улыбался и разъяснял малоквалифицированному коллеге вредоносную и замаскированную сущность пасквиля, торжественно следя, как лицо очередного травмированного неисповедимым коварством литературы вытягивается, являя собой подтверждение древней истине «ибо во многой мудрости много печали, и кто умножает знание, тот умножает скорбь».

Вслед за тем я узнал, что означает «автор ощутил на себе влияние собственного произведения».

Миссия просветительская, как известно, неразрывно связана с миссией воспитательной. Покончив с первой, майор безотлагательно приступил ко второй. Он выстроил роту на плацу, выставил меня по стойке «смирно» и высказал свои взгляды на литературу и литераторов, богатством языка высоко превзойдя скромный стиль моей безделушки. Он обладал поставленным командным голосом, и эрудицию пополнила не только наша рота, но и весь полк, собравшийся у окон казарм.

Лишь раз в своей энергической речи он промахнулся: пообещал с моим рассказом прийти в деканат; рота предвкушающе заржала, представив прелестнейший конфуз: в деканате сидели люди, волею привычки понимающие скорее филологов, чем кадровых строевиков. (В дальнейшем майор исправил свою оплошность, вполне грамотно.)

Первым моим гонораром явились, таким образом, пять нарядов вне очереди. И когда ночью, выдраив туалет, я курил там в печальном предвидении ближайшего будущего, зашед-

ший сержант из другого взвода, лет уже под тридцать, усатый, толстый, очень какой-то добрый, уютный и домашний, пробасил сочувственно: «Что, брат, трудно быть писателем на Руси?»

Слово «писатель» было применено ко мне в первый раз. И я даже почувствовал в этой ситуации некое посвящение.

Остается добавить, что я был уличен на госэкзамене в незнании материальной части и приборов и единственный из двухсот тридцати человек его не сдал. Перед четвертым заходом главы учебника снились мне постранично. А в ноябре в деканат пришла основательная бумага с военной кафедры, где поведение мое в период военных сборов квалифицировалось как отменно недисциплинированное и безнравственное: майор не стал приходить в деканат с рассказом, разумно учтя все факторы. В результате меня чуть не выперли из университета, и если бы майор увидел мое мученическое лицо, с коим я доказывал необязательность отчисления меня с пятого курса, мотивируя это государственными затратами и своей безрассудной любовью к литературе, он счел бы себя сторицей отмщенным.

Видимо, по врожденной беспечности характера я не сделал выводов из этой достаточно поучительной для мало-мальски сообразительного человека истории. Несмотря на то, что я кончал русское отделение, золотая фраза Чехова: «Младенца по рождении надобно высечь, приговаривая при этом: „Не пиши! Не пиши!“» не укоренилась в моем поверхностном сознании достаточно глубоко. Ибо второй рассказ я опубликовал в факультетской стенгазете, после чего факультет разделился по отношению ко мне на три части: первые сочли меня гением, вторые доискивались сути насмешки над читателем, а третьи просили объяснить им, почему меня приняли в университет, а не в специнтернат для дефективных детей; это была самая многочисленная часть.

Но – «если человек глуп, то это надолго». Имея в характере наряду с беспечностью упрямство, я, пострадав от двух собственных рассказов, взялся за изучение чужих и придумал себе тему диплома: «Типы композиции рассказа». Тема эта необъятна тем более, что в нашем литературоведении ею и поныне никто не занялся; тем сильнее она меня привлекала. Строго говоря, способы построения рассказа вполне перечислимы, если не лить воду и не мутить ее. Однако от меня, разумеется, шарахались все здравомыслящие преподаватели, не желая связываться с подобным авантюристом, пока не нашелся один страстно любящий теорию литературы доцент, запамятававший, не иначе, что его недавно выгнали за нечто же подобное из другого университета.

В результате я представил к защите диплом, превзошедший мои собственные ожидания.

Когда в заключение процедуры защиты дипломанты были допущены в аудиторию и высокая комиссия встала для зачтения приговора, я, стоящий по алфавиту обычно в начале списка, своей фамилии вообще не услышал. Я невольно завертел головой, как бы пытаясь со стороны обнаружить – где же я-то, когда председатель голосом Левитана известил: «Что же касается дипломного сочинения...» – и моя фамилия закачалась на краю бездонной качаловской паузы. Аудитория ухнула. Я обомлел. Зачли диплом за кандидатскую? Вряд ли. Не то настроение у комиссии. Не припомнят здесь таких случаев. Так, прямо... Два?! Провал на защите... небывало... дожили... «то комиссия не пришла к единому мнению об оценке, – включился председатель обличительно, – и постановила назначить дополнительного оппонента, с тем чтобы провести повторную защиту».

Мои однокашники, работающие сейчас в университете, говорят, что подобных случаев на их памяти не было больше.

Мнения членов комиссии, как я узнал позже, охватили полный диапазон: от «отлично с рекомендацией в аспирантуру» до «неудовлетворительно».

Дополнительным оппонентом оказался не больше не меньше тогдашний директор Пушкинского дома.

После повторной получасовой перегрызни комиссии за закрытыми дверями, когда прочие защитившиеся обрушились на меня с руганью за нервическое ожидание по милости моих изысков (комиссия, впрочем, сводила собственные научные счета), я поимел нейтральную четверку. После чего директор Пушдома с заведующим кафедрой отечески обсели меня и полчаса усовещивали в формализме, объясняя, почему отказался Эйхенбаум от «Как сделана гоголевская „Шинель“.»

И я понял, что не судьба мне принадлежать к счастливым, которые занимаются вещами, понятными и приятными всем, или хотя бы всем коллегам.

Через год, подав свои рассказы на конференцию молодых писателей Северо-Запада, я подвергся двум полным разносам и двум замечательным восхвалениям (как нетрудно подсчитать, нуль в итоге). Но вынесенной за скобки осталась первая фраза руководителя семинара, подтвердившая мои подозрения: «Никто никого никогда писать не научит». Так что польза была.

После этого благословения старшими собратями по перу я два года вообще не писал, собираясь с мыслями, и еще два года писал ежедневно, бросив работу, счастливо страдая над текстом до бессонницы и дрожи в коленях. Не показывал я написанного никому, кроме разве что младшего брата – он вырос под известным моим влиянием и вредного литературного воздействия на меня оказать, по моему разумению, не мог. Я был молод и честолюбив, и войти в литературу хотел сразу, сильно и красиво. Я воспитывался в американском духе: «Свое дело ты должен делать лучше всех». Своим делом я считал рассказ. Вернее, короткую прозу, ибо рамки жанра новеллы размыты сейчас абсолютно: прочитав по данному вопросу все, что имелось в ленинградских Библиотеке Академии наук и Государственной публичной на русском, английском и польском, я в этом полностью убежден. Ясно, это не помогает писать – рыба не знает, как она плавает, а ихтиологи могут тонуть, – но я стал рыбой, которая может сказать, как она плыла и почему.

И в двадцать восемь лет решив, что я пишу очень хорошую короткую прозу, я стал рассылать рукописи по редакциям в ожидании фанфарного пения и гонораров.

Больше всех остальных мне понравилась редакция одного толстого журнала в белой обложке. Она возвращала рукописи через неделю. Я стал все папки рассказов пропускать сначала через нее, чтоб не залеживались. Седьмая серия вернулась с рецензией в одну строку: «Послушайте, это же несерьезно...»

Я заинтересовался редакционной механикой и выяснил, что на «самотеке» сидят стоперы-литконсультанты – сами, по моим представлениям, решительные неудачники и бездари. Забавнее другое: всем нравились или не нравились разные рассказы. Всегда!

Из неопределенных отзывов друзей, начавших получать мои опусы на прочтение, следовал тот вывод, что пишу я так себе. Средне пишу. Но уж ежели что-то определенное нравилось или не нравилось – всем разное, никогда не иначе. Я стал ставить опыты: пять людей получали пять рассказов с просьбой выделить лучший и худший. Обычно получалось пять лучших и пять худших. «А вообще, – глубокомысленно говорилось мне, – они у тебя все разные. Тебе надо что-то одно», – и каждый указывал на удачный, по его мнению, рассказ.

Желая тем временем привлечь к себе внимание редакций с тем, чтобы меня там хоть читали толком, я со свойственной мне практичностью решился на эффективный шаг. Со скоростью три страницы в час (быстрее не умел печатать) я испек три «рассказа» до бреда фривольного характера. «Брать» они должны были первой же фразой – чтоб уж не оторваться до конца. Автор выглядел маньяком не без юмора, помешанным на, как бы это, интимной стороне жизни. Расчет строился на природном любопытстве, скажем так, сотрудников редакций.

Пока я распечатывал шесть экземпляров, дабы закинуть приманку сразу в шесть журналов, с творчеством сим ознакомились несколько друзей. Не надо быть провидцем, чтобы сообразить, что именно это они объявили отличной литературой, а читанное ранее – ерундой. Это

окончательно подорвало мое доверие к читательским откликам, так что акция моя имела уже минимум одно положительное следствие, – не считая того веселья, с каким я эту ахиною порол.

В собственноручно склеенных розовых папках с зелеными тесемками я отправил свой доморощенный «Декамерон» радовать центральные редакции (из предосторожности не указав своего адреса), а через месяц повторил второй серией. Выработав таким образом у редакторов положительный условный рефлекс на мою фамилию, я отправил настоящие рассказы, считая, что теперь их по крайней мере сразу прочтут. И в общем не совсем ошибся.

Лишь один из шести журналов не ответил. Прочие отреагировали сразу. Наиболее симпатизирующий ответ, трехстраничный, скорбел: «Печально, что присущее вам, судя по предыдущим рассказам, чувство юмора направлено пока лишь на привлечение внимания к себе». Настоящие рассказы у них, как явствовало, так же как и у моих друзей, интереса не вызвали.

Пока я изучал литературный процесс, мои университетские друзья продвигались по службе. Подстрекаемый их практическими советами, я пришел к выводу о неизбежности личных контактов. Я стал налаживать личные контакты. Меня посвятили в два самых привилегированных литобъединения. Я отсчитывал в Доме писателей копейки на малолюбимый мной кофе. Но повторялось неуклонно: всем нравилось разное, что трактовалось мне в ущерб.

В редакциях мне советовали изучать жизнь. Я бестактно возражал, что перегонял скот на Алтае, строил железную дорогу в Мангышлаке и т. д. Тогда мне советовали больше работать: работал я ежедневно до упора. Тогда, морщась, объясняли, что я еще в поиске и не нашел своей темы, что подтверждается наличием совершенно непохожих рассказов. И этот камень преткновения мне было не спихнуть. Я опасался, что если прочту редактору лекцию на тему «что такое рассказ», литературные взгляды его, возможно, и расширятся, но перспектива нашего сотрудничества сузится до черты порога.

Эти две формулировки – «молодой автор находится в поиске» и «писатель еще не нашел своей темы» – реяли над моим бедствием как два черных вороновых крыла. Впоследствии прибавилась еще пара дубинок: «нарочитая усложненность» и «неясно авторское отношение».

Мне же всегда хотелось писать именно разные рассказы. Не то чтобы хотелось – они должны быть разные. Так я чувствую и понимаю. Каждый материал сам выбирает свою форму, и каждый рассказ – это не изложение неких фактов и мыслей, но больше – это всегда нахождение единственного органичного воплощения материала, построения его, языковых средств, позиции автора, чтобы в результате из этого единого целого возникла та, если можно так выразиться, надыдея, которая и является сутью рассказа.

В идеале каждый рассказ – это открытие другого мира, а не еще одна дверь в мир один и тот же.

Можно, найдя удачную формулу и «поставив руку», писать рассказы схожие, где автор ясен сразу по одному рассказу. «Мир Лондона», «мир Шукшина». У каждого – своя сфера, за ее пределы он не ходок. Пусть он гений, талант, мир его уникален, воззрение самобытно, – но жизнь-то – всякая! Каждая комбинация элементов неповторима и дает другой мир; должны быть разными и рассказы, а не ситуации и даже не характеры, – мир рассказов должен быть разным.

Подобными объяснениями я пытался оправдывать свою преступную разноплановость и непохожесть рассказов. В чем мало преуспевал. Я казался сам себе то бесталанным Дон-Жуаном от новеллистики, то неправильной пчелкой из «Винни-Пуха», которая делает неправильный мед.

На мое везение, был конкурс ленинградских фантастов (анонимный!), и мой рассказ занял первое место. Его напечатали в Риге, взяли в альманах, перевели в Болгарии и охаяли в других местах, – кому это не знакомо. Но – стали брать: по одному рассказу из пяти-шести, советуя и надеясь, что в будущем получат все рассказы наподобие понравившегося, «сильного», – чтоб попохожее.

И только на тридцатом году жизни я познакомился с одним более чем признанным писателем, автором десятка книг и среди прочего – мощных рассказов, который поведал, как, будучи помоложе, наполучал критических шпилек за «разнородность» своих рассказов, за убежденность, что рассказы и должны быть разными. Я, помнится, дернулся и помахал руками. И весь тот вечер норовил макать сигареты в чай и перебивать старшего единомышленника маловразумительными восклицаниями в том духе, что как это здорово.

И всегда хотелось мне выпустить такую книгу, чтоб все рассказы в ней были разные – даже если у меня есть и сходные. Потому что сборник рассказов представляется мне не в виде строя солдат, или производственной бригады, или даже компании друзей или семейства за столом, а в виде собрания самых различных людей, по которым можно составить представление о человечестве в целом. Отбор по росту, расе, полу или профессии здесь просто неуместен. По человеку – всех рас, народов, ростов и судеб. А общего у них то, что все они люди с одной планеты. И чем более разными они будут, тем богаче и полнее составит в единое целое мозаика жизни.

Положение во гроб

Усоп.

Тоже торжество, но неприятное. Тягостное. Дело житейское; все там будем, чего там. (Вздых.)

Водоватов скончался достойно и подобающе: усоп. Как член секретариата, отмаялся он в больнице Четвертого отделения, одиночная палата, спецкомфорт с телевизором, индивидуальный пост, посменное бдение коллег, избывающих регламент у постели и оповещающих других коллег о состоянии. Что ж – состояние. Семьдесят четыре года, стенокардия, второй инфаркт; под чертой – четырехтомное собрание «Избранного» в «Советском писателе», двухтомник в «Худлите», два ордена и медали, членство в редколлегиях и комиссиях, заграничные поездки, совещания; благословленные в литературу бывшие молодые, дети, внуки; Харон подогнал не ветхую рейсовую лодку, а лаковую гондолу – приличествующее отбытие с конечной станции вполне состоявшейся жизни.

Газеты почтили некрологами; Литфонд выписал причитающиеся двести рублей похоронных; и гроб, в лентах и венках, выставили для прощания в Белом зале писательской организации.

К двенадцати присутствовали: от правления, от секции прозы, от профкома, месткома и парткома, от бюро пропаганды и Совета ветеранов; посасывали валидолы одышливые сверстники, уверенно разместились по рангам и чинам сановные и маститые; подперли стенку перспективные из Клуба молодого литератора, привлекаемые в качестве носителей гроба (лестница). Родня блюла траур близ изголовья бесприметно и обособленно.

Минуты твердели и падали; в четверть первого выступил вперед и встал в головах второй (рабочий, так называемый) секретарь Союза, Темин, с листком в руке. Склонением головы обозначив скорбь, он выдержал паузу, давая настояться тишине, явить себя чувству, и профессионально открыл панихиду:

– Товарищи! Сегодня мы прощаемся с нашим другом, коллегой, провожаем в последний путь замечательного человека, большого писателя и настоящего коммуниста Семена Никитича Водоватова. Всю свою жизнь, все силы, весь свой огромный талант и щедрую душу Семен Никитич без остатка отдал нашей Родине, нашему народу, нашей советской литературе.

Семен Никитович родился... («Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции», – взглядом сказал один маститый другому. – «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», – ответил взгляд.)... В сорок девятом году Семен Никитович выпустил свой первый роман – «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР...

И еще пять минут (две страницы) освещал Темин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе.

Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трошенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сема Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трошенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый, и слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот.

Некрасивая, условно-молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампирического стула и продекламировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи; стихи тоже были некрасивые, какие-то условно-молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом, но все знали, что Водоватов ей протезировал, звонил в журналы, даже

одалживал деньги – из меценатства, без оформленной стариковско-мужской корысти, и это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление.

И долго еще проповедали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несвершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг.

Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, «дай Бог нам с вами такие похороны».

Полтора человека надышали в зале, совея и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдают человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально-светлые чувства в извитых душах деловых горожан; время панихиды рассчитали грамотно, чтоб не успели перетомиться скукой, – но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекалось на сведение старых литературных счетов – перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания; по шестеро натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, а в задних рядах поглядывали украдкой на часы, и все соображали, когда вернуться с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы...

Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале, и там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться.

И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорон очеркиста Смелгинского, когда же наконец поедут, и уже председатель похоронной комиссии пышноусый научно-популяризатор Завидович кивнул коротко Темину и собрался показать рукой, чтоб разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб, когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных.

Тот, что помоложе, в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил вполголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его – огласить в конце панихиды письмо-прощание Водоватова к коллегам. В доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание.

Второй же, старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу, на вопрос: «Вы родственник... входите в число наследников?» – ответил не совсем впопад: «Нет, я его друг... по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде... говорили обо всем... много». Дискант старика срывался, выглядел он волнующимся, неуверенным...

Темин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выцелил, что старику, Баранову Борису Петровичу, отказывается две тысячи рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам.

Н-не хотелось Темину это разрешать... но и отказать было невозможно, да и причин не было; он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с Гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул: давайте, мол, но скорее, время поджимает.

Старик подержал конверт и стал ломать сургуч, кроша.

Темин, выдвинувшись, объявил:

– Товарищи! Семен Никитич, помня обо всех нас, перед смертью попрощался с нами. Есть его прощальное письмо. Прочесть его он поручил своему другу, личному другу... (выслушал подсказку нотариуса за спиной) близкому, старому другу Борису Петровичу Баранову. – И отступил.

Старик шевельнулся на пустом пространстве, помедлил, посмотрел в спокойное мертвое лицо с натеками подле ушей и протянул руку, коснулся плеча покойника живым, отпускающим и успокаивающим жестом.

Развернул бумагу, моргнул, неловко одной рукой принялся извлекать очки из очешника и пристраивать на нос.

И наконец, прерывисто вздохнув, вперившись в строчки, спертым пресекающимся голосом произнес невыразительно:

– «Поганые суки.

Ненавижу вас всех. Ненавижу.

Подонки. Бездари. Грязь.

Чтоб вы сдохли скоро и в муках.

Воздаст Господь каждому по его делам, воздаст».

Разверзлась пропасть, весь воздух вдруг выкачали, и далекий рассудок бил на дне агонизирующей ножкой.

Кучка молодых забыла считать сотысячные гонорары усопшего, чем занимала себя последние полчаса.

Старик Баранов капнул потом на лист, выровнял дух и продолжал чуть громче:

– «Покойник здесь я. Я здесь сегодня главный. А потому будьте любезны слов моих не прерывать: даже у дикарей последняя воля покойного священна. Надеюсь, даже вашего непревзойденного хамства и легендарной подлости не хватит на то, чтобы сейчас заткнуть мне рот. Хотя вам не привыкать затыкать рты покойникам, да и вкладывать им, теперь уж абсолютно беззащитным, ваши подлые и лживые слова. Но посмотрите друг другу в глаза, коллеги: кто же еще скажет вам правду вслух?»

Возникло краткое напряжение неестественности: простое желание переглянуться с соседом противоречило неуместности следовать глумливой указке.

– «Как не хотелось продаваться, коллеги мои по грязи и писательству. Как не хотелось писать дерьмо и ложь, чтобы печататься и быть писателем. Как не хотелось молчать и голосовать за преступную и явную всем ложь на ваших замечательных собраниях. Как не хотелось выть в унисон, да не с волками – с гиенами, пожирающими падаль. Как не хотелось соглашаться с тем, что бездарное – якобы талантливо, а талантливое и честное – ошибочно и преступно.

Да – я играл в ваши игры. Потому что тоже не лишен тщеславия и честолюбия, и хотел писать и быть писателем, хотел известности, денег и положения, потому что были у меня и ум, и силы, и энергия, и Богом данный талант – был, был! и я видел, что могу писать много лучше, чем бездарные и спесивые бонзы вашего вонючего литературного ведомства, раздувшиеся, как гигантские клопы, в злой надменности своего величия. Величия чиновников, сосущих соки собственного народа и душащих всех, кто талантлив и непохож.

Ненавижу этих хищных динозавров соцреализма, на уровне своего ящериного мозга обслуживающих последние постановления партии – в любом виде, в любой форме, когда постановления эти издавались бандитской шайкой, тупыми карьеристами, ворами и растлителями.

Что за гениальная мысль – создать Союз писателей! С единым уставом и единым руководством. Штатных воспевателей государственной машины. А еще гениальнее – дома творчества. Вот тебе комната, стол, кровать, горшок, четырежды в день кормят по расписанию, в обед продают водочку, а вечером крутят кино. Гениально! Странно только, что не ходят строем и не поют утром и перед сном Гимн Советского Союза.

Из гроба плюю я на ваш Союз, на ваше правление во главе с мерзавцем товарищем Маркиным, на ваш устав, на ваши гадские спецкормушки и спецсанатории!»

Хрустнула перевернутая страница. Старик проникся текстом и декламировал с выражением. Нетрудно было догадаться, что на своих рыбалках они не раз толковали, отводя душу, глушили водочку и кляли все и вся.

При упоминании Маркина Темин, Завидович и еще ряд руководящих выказали явные признаки беспокойства. Они как-то сориентировались друг к другу, обмениваясь каменными движениями век. Молодежь внимала с вдохновенным счастьем. Скандал перешел последнюю

грань: акция требовала пресечения. Утопления, смазывания, торпедирования, спуска на тормозах. Толпа дышала с выражением готовности осудить.

– «Прошу нотариуса предъявить свидетельства психиатра и невропатолога, что сие написано в здравом уме и твердой памяти. А то с наших ухарей станется объявить это предсмертным бредом больного, я их знаю, негодяев, опыт у них большой».

Дьявольская предусмотрительность покойника смутила руководящих товарищей; Темин растерянно опустил руку, протянутую было к письму, и сделал вид, что говорить ничего не собирался.

В кучке молодых гробоносителей ахнули в восторге.

«Когда государство превращается в мафию, то все государственные институты – отделения мафии. Живущие по законам мафии. Одни прорвались к пирогу и защищают его, как двадцать восемь панфиловцев – Дубосеково, другие рвутся к нему, как танки Гудериана к Москве. Да здравствуют советские писатели – продажные шакалы диктатуры бандитов! Ура, товарищи!»

– Да что же это такое!! – вознегодовала детская писательница Воробьева, взмахнув черными кружевными манжетами. – Александр Александрович! что же вы молчите?! это же политическая диверсия! Откровения двурушни...

– Товарищи, – офицерским непререкаемым голосом скомандовал Темин, кроя гул, – лица, не обязанные по своему служебному долгу присутствовать на панихиде, могут покинуть зал.

Возникло броуновское движение литературных молекул, не пересекающее, однако, черты порога; никто зала не покинул. Скуки не было в помине, глаза горели, интерес глодал, все хотели слушать дальше и досмотреть, чем все это кончится.

Старичок гвоздил:

– «Писатели по работе своей – одиночки, писателей нельзя собирать в кучу, каждый писатель имеет свое мнение обо всем, а если нет – дешевый он писака, а не писатель. А если партийный билет и партийная дисциплина заставляют вас писать то, что велит вам партия – так называйте это партийной пропагандой, но не называйте литературой!»

Да, поздно я понял, что писательство – это крест, а не пряник. Не хватило мне мужества пойти на крест, не хватило! Не смог отправиться в дурдом, в лагерь, в камеру к уголовникам, к стенке: боялся! Боялся быть как бы случайно сбитым грузовиком или оказаться выгнанным отовсюду безработным, которого возьмут разве что грузчиком в магазин.

Ну что, больше всех небось радуется кучка молодых, которых призвали мой гроб тащить?»

Все взоры сфокусировались на молодых. Молодые поперхнулись.

Молодые одеревенели скорбно и оскорбленно даже, тщась стереть с лиц предначальством приметы преступного веселья. За спинами кто-то пискнул и захлебнулся, словно рот себе зажал ладонью.

– «Уже давным-давно я не хотел жить здесь. Понимаете? – не хотел!!! Я мечтал жить в тихом городке в Канаде, мечтал провести несколько лет в Париже, в Нью-Йорке, увидеть Рим и Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро – не из окна автобуса, не на десять дней с группой Союза писателей вашего долбанного, а сам, сам по себе, сколько хочу и как умею. Почему я не уехал, не сбежал? а потому же, почему еще многие – из-за родных. Мы же все в своем любимом отечестве обязаны иметь заложников и оставлять их дома, чтоб не дай Бог не удрали из нашей первой в мире страны социализма! Все прут от нас туда, а от них сюда – один шпион в три года, так его еще по телевизору показывают.

Я не хотел ваших дрянных постов и должностей, я хотел писать то, что я хочу, и посылать рукописи своему литагенту, и не знать никакого их пробивания. А если не возьмут? заработаю на жизнь ночным портье в отеле и издам тиражом пятьсот штук за свой счет...»

Раздался звучный вздох, произвольный и печальный.

– «Я вообще не ваш, если хотите знать! Да, был я когда-то комсомольским вожачком, был партсекретарем редакции, обличал врагов народа и врачей-убийц... но сывка я был, шестеренка, винтик безмозглый! А потом поумнел... но на апостольство решиться не смог. Но понял, все понял! Я не принимаю ваш строй, вашу партию, и нечего на одного Сталина валить все грехи – диктатура рождает диктаторов! Не Сталин – с самого начала начались концлагеря и расстрелы без суда и следствия, и затыкание ртов несогласным, и разорение умеющих работать; до Сталина начали убивать детей, и попирали закон, и бесстыдно лгать народу для достижения своих политических целей и... какого черта, Солженицына вы и сами читали в самое запретное время, а потом шли на собрания и клеймили его.

На меня плевать, сдох – и ладно, я свое пожил. А вот книги, умершие со мной, ненаписанные, я вам не прошу. Унижений не прошу, когда улыбался, льстил, хлопотал, услуживал, задницы лизал – а иначе не пробиться. Кто пробился иначе, а, дорогие друзья? Кто не подслуживался, не заискивал, не устраивал всячески дружбы с нужными людьми, даже если людей этих презирал и ненавидел? Ну-ка, кто такой благородный – вытряхните меня из гроба! Ну! Пауза.»

На последних словах все не то, чтобы задумались... Старичок-Баранов с разгону, видимо прочитал ремарку в этом тексте-сценарии: паузу, наверно, следовало сделать ему и, наверно, посмотреть в зал: не найдется ли, в самом деле, такой благородный, который вытряхнет бесчинствующего покойника из гроба. «И следовало бы, честно говоря!» – неслышно повисло в воздухе над начальствующей когортой.

Взлетевший Баранов честно и теперь даже вдохновенно выполнял свой последний дружеский долг, – или, если подойти иначе, отработывал две тысячи рублей, – весьма весомая сумма для пенсионера, да и не только пенсионера.

– «Хотите знать, что нам нужно? Только одно – многопартийная система. А честнее говоря – отмена запрета под страхом концлагеря на любые политические партии кроме КПСС. Партия, совершившая такие преступления против своего народа, не имеет права, не должна, не смеет оставаться у власти. Сколько было у нас путей – и все ленинские! удивительная геометрия, любой топограф с ума сойдет. И только тогда будет демократия, свободное предпринимательство, открытые границы и конвертируемая валюта. И не будет сволочного Госкомиздата, благодаря координирующей деятельности которого одна и та же книга набирается и редактируется двадцать раз в двадцати издательствах... чтоб он сгорел во главе со своим председателем, держимордой и иудой».

(«Ого! дошел и до общей политической программы!» – «Завещание съезду, а.» – «Фига в кармане...» – «Милое, однако, устройство, при котором только мертвые и могут себе позволить... да и то...» – «М-да – уж им терять нечего», – прощелестели шепоты.)

Но оказалось, что мертвому терять очень даже есть чего.

– «Будь прокляты ваши кастрирующие редакторы, ваши анонимные цензоры, ваше страшное и кровавое НКВД-КГБ – вечное проклятие палачам Лубянки! – ваши нищие магазины и заживевшие холуи во князьях, ваше рабское бесправие и всесильная ложь. Я жил среди вас, все делал так, как делаете вы, добился ненужных благ и почестей, которых добиваетесь вы... – но уж хоть после смерти лежать среди вас не хочу я.

Похорон, могил, памятников и речей над свежим холмиком не будет. Хватит фиглярства. Завещаю свое тело анатомическому театру Первого медицинского института.

Нотариуса прошу предъявить товарищу Темину, второму секретарю писательской организации, – он, я полагаю, возглавляет этот цирк, – если не сбежал еще, бродяга, – ау, Сашок, ты здесь?..»

Темин побагровел, чугуinea массивно. Несколько человек – от входа, из безопасности – заржали откровенно и бессердечно.

– «...предъявить расписку в получении мною от упомянутого театра ста пятидесяти девяти рублей за мои бранные останки и письменное согласие родственников, заверенное нотариально. Ничего, пусть живут счастливо на мои гонорары и смотрят на мой портрет, незачем таскаться вдаль к камню над моими костями, которые мне уже отслужили, пусть теперь хоть медицине послужат.

Панихида окончена, всем спасибо.

А теперь пошли все вон отсюда, к трепаной матери. Я устал, знаете, за семьдесят четыре года, пора и отдохнуть от вас.»

Старик Баранов опустил локти, растопыренные предохранительно над письмом, как крылья насадки на цыпленком, письмо аккуратно сложил и поместил в конверт, а конверт перегнул пополам и спрятал во внутренний карман.

Наступила совершенно понятная заминка, неловкая и неопределенная. Вроде и нельзя расходиться, и надо расходиться, и... нет, ну безобразная, идиотская, немыслимая ситуация. И что теперь делать? чем все должно кончиться?

Баранов утирал лицо и шею над размокшим воротничком. Темин гнал блиц-переговоры с Завидовичем. Хоть теперь следовало брать инициативу в свои руки, и немедленно. Естественно, никому не хотелось принимать ответственность за беспрецедентный скандал.

Верх взял, само собой, старший по должности, закончив неразборчивые дебаты категорическим приказанием. Завидович вытянулся «смирно»:

– Товарищи! Ввиду всех обстоятельств и необходимости уточнения деталей всех просят покинуть зал. Просьба покинуть зал! Церемонию считать оконченной, – брякнул он.

Помедлили, и потекли на выход. Оглядываясь, предвкушали перекурить сейчас происшедшее, посмаковать, переложив рюмкой в баре, обсудить и дожидаться конца. Не каждый день, знаете!

– Насколько вообще все это законно? – допрашивал Темин нотариуса.

– Абсолютно, – подтвердил тот с некоторым даже удовольствием. – Медицинская экспертиза, заверенное завещание. Все соблюдено.

В затылок руководящий взгляд обкомовского товарища гнул Темина в подкову.

– Вы понимаете, что это подпадает под уголовную статью? И виновным придется ответить, я вас уверяю!

– Отнюдь; есть заключение юрисконсульта. Никакой пропаганды насилия, свержения, клеветы и нецензурных выражений.

– А публичное оскорбление гражданской церемонии? Этот чтец-декламатор сядет, есть кому позаботиться.

– Судом над Барановым вы раздуете всеобщее посмешище. Прикиньте последствия. Как юрист гарантирую его неуязвимость, максимум – сто рублей штрафа и предупреждение.

– А сколько вы получили за эту мерзость?! – не выдержал Темин.

– Отчеты о гонорарах я подаю в коллегиям.

– Но можно в чем-то изменить его волю?.. это же нонсенс...

– Я обязан проследить и настоять на исполнении закона.

Товарищ из обкома броненосно подплыл и увлек нотариуса в сторону – втолковать.

Белые лепные двери в опустевшем зале распахнулись – по паркету протопали двое ребят в синих коротких пальто с какими-то шевронами.

– Сюда сейчас нельзя, товарищи!

– Санитары из морга, – заурядно представился один, а второй ткнул мятую справку. –

За трупом... вот.

– Не требуется. Кто вас прислал?

– Нас? Начальство. Распорядилось.

Завидович ворковал родственникам. Родственники слушали замкнуто. «...только посмейте... последнюю волю отца...» – злобно отвечал желчный худой мужчина, сын, с ненавистью озирая доброхотов литературного мира. Семья в этой распре обнаружила подготовленное единство. (Заговор! Группа!)

– Вот что, – объявил позабытый на отшибе старик Баранов. – Если вы его сейчас не отдадите согласно завещанию, то у меня заготовлены письма во все инстанции и газеты, и в западные консульства. С указанием фамилий и деталей, и текстом письма. И есть человек, который перешлет. Устраивает?

Похоже, это было правдой, черт ему сейчас не брат, чего ему бояться, пенсионеру, как его прищучишь?..

Матерый литературный волк, опытный интриган и предусмотрительный боец Водоватов с треском выигрывал свой посмертный раунд.

– А вам бы помолчать, – брезгливо уронил Темин. – Продались за две тысячи и теперь счастливы, что их получили. О вашем поведении сообщат куда следует, придется отвечать. Продажный циник...

Старичок коротко просеменил к Темину и с чудной ловкостью всадил ему пощечину. По массивной выскобленной щеке шлепнуло сыро и звучно.

Темин выдохнул и закрыл щеку.

Старичок любовно потрепал покойнику плечо, рек:

– Молодец, Сенька! По Сеньке шапка! Прощай. До встречи! – и поцеловал в губы. От дверей бросил санитарам: «Давайте, ребята, давайте! Ну!»

На лестнице попыхивало, побулькивало обсуждение: что плюнул в лицо, подлец; что двурушник, главное зло, не разглядели, гнать надо было; нет, все-таки сошел с ума, а экспертиза липовая, да и знаете же наших горе-психиатров; но как допустили, не прервали, гипноз какой-то, растерялись; что а все-таки молодец, но так высказывались немногие малоосторожные, малоопытные; а больше народ все был тертый, осмотрительный, и фразы преобладали нейтрально-неодобрительные.

Поглядывали на двери и часы.

Санитары вынесли гроб. Им помогли сын и нестарый родственник.

Все внимательно проследили в стрельчатое окно на площадке, как гроб задвинули в больничный «рафик» и укатили.

Баранов-старичок отдулся, раздернул воротничок с галстуком и покрутил шеей. Он был здесь сам по себе, отдельный, как бы и не обращающий на себя ничьего внимания.

У перил курила своим кружком шестерка «молодых». Старичок примерился взглядом к лысеющему, лет тридцати пяти, вполне простецкого обличья.

– Эй, мальчик, – сказал он, – выпить хочешь?

– С вами? – немедленно откликнулся тот. – С огромным удовольствием.

Старичок извлек четвертную.

– Тогда сбегай, голубок, возьми литр, – сказал он. – Как раз уже открылись. Помянем!

Рандеву со знаменитостью

1. Парад

Торжественный зал. Люстра, кинохроника, смокинги, блики фотовспышек на лысинах. Недержание лесты: симфония славословий.

– ...за величайшее достижение в области литературы двадцатого века. И, может быть, литературы вообще!..

Не помыслить в искусстве (и в науке!) свершения большего, чем ответы на все вечные вопросы. Дерзновенна уже одна мысль о постановке подобной задачи.

Эта задача не только поставлена – она решена. (*Овация*).

Сегодняшняя Премия, слава, богатство – суетный прах, запоздалая тень заслуженной награды, которой по праву мы чтим Его. Слава и честь покорителю высочайшей из вершин, чей подвиг не будет превзойден в веках. (*Бурная овация. Чествуемый промакивает лоб платком*).

– Путь на вершину – это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина – тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта.

Ум его не знал запретов, а воля не ведала преград. Отказ от карьеры, сгоревшие страсти, погибшие способности, годы унижений и нищеты, непереносимых сомнений, разъедающих кислотой душу и мозг, годы метаний и мук, когда обретение оборачивается миражом, и непостижимость миража завораживает сумасшествием и баюкает самоубийством – такова плата за гений: бесценное сокровище, открытое человечеству. (*Зал слегка пришиблен*).

Выжженная земля остается за спиной того, кто один на один уходит в погоню за истиной. (*Нерешиительные аплодисменты*).

– ...пример неколебимой стойкости духа. Юность и страсть, здоровье и мудрость, честность и сила переплавились в сжигающем жаре вдохновения, являя невиданный сплав – ту человеческую сталь, для которой возможно даже невозможное.

Вера и мужество, интуиция и расчет, труд и талант, целеустремленность и нечеловеческая выносливость – малая часть качеств, необходимых для написания истинной Книги. Той, что открывает человечеству новую страницу в познании. (*Чествуемый уже тихо тоскует*).

– ...венец величественного здания литературы, созданного гением земной цивилизации! Пока существует человечество – оно будет читать эту Книгу и свято чтить это имя. (*Жарко; клюют носами, поглядывают на часы*).

2. Реверанс

Ответная речь. Кукушка хвалит петуха. Чествуемый с невозмутимым лицом Будды утверждает на кафедре, как адмирал – на мостике рыбацкой шхуны. На всех лицах изображается именно то чувство, что они лицезреют величайшего из людей. Звон тишины служит увертюрой к речи.

– ...незаслуженные почести. (*Поклон залу. Овация*).

Если человек любит свое дело – величайшей для него наградой является возможность свободно заниматься этим делом – так, как он хочет и видит, понимает нужным.

Иногда я чувствую себя не автором Книги, столь высоко оцененной вами, а лишь ЕЕ представителем, подчиненным, гидом, что ли. (*Дружелюбный смех в зале*).

На мою долю выпал редкий и счастливый случай: полное понимание при жизни, признание современников. В каждом ли солдатском ранце лежит маршальский жезл – но за каждой солдатской спиной стоит смерть. Охотник за истиной должен быть всегда готов к тому, что

удача застигнет его вдали от людей, и голос не успеет покрыть пройденную даль, покуда он жив. В моем ремесле победа не любит свидетелей.

Я был всегда готов к забвению и смерти: таковы условия игры. И когда ты принимаешь их, то получаешь шанс выиграть. Если не побоишься передернуть в верный момент. (*Шевеление и звуки в зале*).

Удостоенный сегодня за мою работу высшего из всех возможных отличий... (*поклон; овация*)... я хочу напомнить: писатель не существует без читателей, как не существует магнит с одним полюсом. Необходимы все те, кто читает, и все те, кто не читает – тоже: ибо основание держит весь груз горы, венчаемой пиком.

Книга начинает свою жизнь после прочтения. До тех пор созданное писателем может быть завершено и совершенно – но еще не живет. Первое прочтение читателем – это тот шлепок, который акушерка дает младенцу, вызывая первый вдох.

Я благодарю вас за жизнь, которую вы вдохнули в мою Книгу. (*Овация*). За труд, которым вы завершили мою работу, не имевшую бы смысла, не будь всех вас. (*Бурная овация*).

Я благодарю моих отца и мать, которые родили меня, вырастили и воспитали.

Моего брата, любящего и верящего в меня всегда.

Мою жену, разделившую со мной небезбедную жизнь безоглядно и верно.

Моих учителей, живых и мертвых, у которых я научился всему, чему мог.

Моих друзей, чье тепло, доброта и понимание помогли мне выжить.

Моих врагов, которые научили меня быть сильным, не бояться и побеждать.

3. Знакомство

Пресс-конференция. Помпезная процедура разбавляется привычным профессионализмом журналистов.

– Что Вы чувствуете сегодня, в этот знаменательный для Вас день получения Высшей Премии?

– Ничего особенного. Приятно, разумеется. И слегка презираю себя за то, что приятно: надо быть выше атрибутики и суетных наград.

– Но Премия – знак признательности современников. Вы нашли дорогу к их сердцу и уму – это не может быть безразлично автору?

– Любому хочется, чтоб его понимали – причем так, как он сам считает правильным. Но это практически исключено: автор понимает одно, читатель другое, критик третье, журналист четвертое – если вообще читал то, о чем говорит.

– Вы не уважаете читателей?

– Я рад каждому, кто меня как-то понимает и кому я могу что-то дать. Но нельзя корректировать свою работу в зависимости от читательских отзывов. Кто делает что-то в искусстве – должен быть принят теми, кто в нем менее компетентен, чем автор. Следуя пожеланиям и взглядам читателей, я низведу свою компетентность до уровня людей некомпетентных, непрофессионалов, – что же нового я смогу им тогда дать, если стану писать так, как они уже знают (коли советуют)? Понимание писателя читателем обогатит читателя; следование писателя за читателем обеднит обоих. Увы – мы пережевываем сейчас эту банальную истину только по дилетантству задавшего вопрос. (*Смешки и сомнение в зале*).

– Присуждение Премии явилось для Вас неожиданностью?

– Нет. Еще в двадцать лет я знал, что получу ее. И не ошибся в сроке.

– Вы приписываете это своему таланту? случаю, воле, удаче? гениальности?

– Я не знаю, что такое «талант», и что такое «гений» я тоже не знаю. Для себя я оперирую понятием «работать хорошо». Я работаю хорошо.

Удача? Судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. Воля? Вид пропасти заставляет строить мост. Произошло лишь то, что должно было произойти.

– Хорошо: что Вы почувствовали, только узнав о присуждении Премии?

– Вам нужен восторг, счастье, необыкновенный подъем? Нет; лишь легкую тоску оттого, что ничего этого я не почувствовал... «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула». И все-таки было знание: я сделал то, что должен был сделать. Видите ли: мало написать Великую Книгу – надо добиться признания ее таковой.

– Вы верите в неизвестных гениев?

– Бесспорно. Ведь гением признается тот, чей труд был раньше или позже признан. Понят, принят. Оказал влияние на умы, на развитие идей, науки, деятельности, – на человечество. Макрокосм нашей культуры, расширяясь, развивается и движется в каком-то преимущественном направлении. Разведать и проложить дорогу, пробить выход на нее – вот работа гения.

Но:

Человечество может быть не готово к этому открытию.

Может не заметить его.

Может избрать один из ряда аналогичных вариантов.

Или открытие может опоздать.

Гений – это творец, застолбивший участок на золотой жиле истории. На той дороге, по которой пойдет человечество. Ее трудно знать наверняка. И она может иметь боковые, параллельные пути – на которых безвестные гении лишены признания в веках: история мчит мимо у горизонта, воздавая хвалу удачливому их собрату.

То есть. Гением нужно быть, но будучи гением можно являться таковым пред человечеством, а можно не являться.

Самоучка-портной создал дифференциальное исчисление – давно известное математикам.

Законы Максвелла за сорок лет до него открыл и сформулировал забытый английский профессор: он не сумел привлечь к себе внимание.

Колумб не первый открыл Америку – он первый открыл ее вовремя.

Гений – это именно указатель (часто посмертный) на столбовом пути прогресса. Для прогресса хватит одного пути, а для указателя – одного имени.

В искусстве же, которое условно, и система условностей которого не есть абсолют, особенно часто со всей дерзостью, оригинальностью, глубиной – отклоняются от столбового пути в забвение. Иногда – чтобы быть на указателях когда-нибудь вновь. Был век забвения Шекспира. Посмертная слава художников. Доисторические пещерные росписи, открытые сто лет назад, воспринимались поначалу как несовершенный примитивизм, а позднее – как блистательные стилизации.

Какая бездна смысла и красоты открывается японцу в крошечном садике, ничтожном на взгляд поверхностного и грубого европейца! Так вот: на свое гениальное творение надо заставить людей смотреть столь же внимательно и углубленно, как тот японец.

– На что Вы намерены потратить Премию?

– Деньги всегда сами найдут, куда уйти. (*Пожатие плеч. Смех в зале*).

– Но ее сумма играет для Вас роль?

– Десять лет назад это могло бы сделать мою жизнь полней, смягчить трудности, позволить больше работать. Сейчас – это неважно.

– Вы из тех, кто презирает богатство?

– Я из тех, кто ненавидит нищету.

– Если верить прессе, Ваши доходы ныне очень высоки?

– Верить ли прессе – тут виднее вам. Пожалуй, у меня есть сейчас чуть больше, чем я когда-то хотел. Но я не жалуясь. (*Смех*).

– Что помогло Вам выстоять в лишениях?

– Неизбежность победы. Наслаждение борьбой. Счастье работать свободно и в полную силу: не гнуть спину и совесть за деньги. В общем все пережитое соответствовало моим желаниям. Если ясно видишь обстановку и сам делаешь выбор – то уж стой и не падай. Я знал, что свое сделаю.

– У Вас бывали приступы отчаяния?

– Бессильного бешенства – да.

– Вам случалось терять веру в себя?

– Отменная глупость. Нет.

– Ваш девиз?

– Не было – так будет. Сделай или сдохни.

– Как зародился замысел Вашей Книги?

– Моя любимая притча – «Ворота» Кафки: «Они были предназначены для тебя одного...»

Мне было тридцать два года, и я писал рассказ, где было сказано о любви все – «Соблазнитель». Я рассуждал о счастье и анализировал психологический механизм отказа от него – извечный парадокс, решение которого дает богатейшие следствия.

И как-то ненастным мартовским вечером я настолько удалился от начала по проявляющейся паутине следствий, что вообще отложил рассказ, вернувшись к нему четыре года спустя.

Уловленная нить логики уводила в глубины буквально всех основных вопросов бытия. Я стал искать основной принцип, могущий как-то объединить все аспекты бытия, спроецировать их на некую одну плоскость: искать единую систему отсчета, насколько мог ее представить на основе собственных знаний.

Вроде получилось. До странности легко получилось...

И уже в темноте, в постели, в третьем часу ночи, затуманенный хаос открытия дрогнул в воспаленном мозгу, и ясное знание прорезалось четко, как бронзовый чекан.

И жутковато повеяло: не может смертный постичь то, что открылось мне. Открылось с абсолютной непреложностью...

Шли дни: я холодел в возбуждении. Я не сомневался в очевидном, но суеверие покалывало: неужели – Я?..

Я трезво прикидывал исходные данные: исторический момент, свою личность и судьбу... и утверждался в том, что действительно создал новое, универсальное учение, приложимое ко всем аспектам бытия, объемлющее все известные основы наук и объясняющее все сущее – от особенностей человеческой психики – на одном полюсе учения, и до Судьбы Вселенной – на другом.

Ну что ж, сказал я себе. Почему бы тебе и не быть чуть-чуть умнее, чем царь Соломон. В конце концов, у тебя лучшие условия для спокойной работы.

А дальше осталось только детально разработать приложение Метода ко всем основным вопросам.

– Но Ваша Книга вредна: она отняла у людей веру в будущее?

– Знание истины не может быть вредным, ибо истина существует независимо от того, знаем мы о ней или нет. Знание – необходимо для выбора верных действий. Я дал людям знание будущего. Они могут им распорядиться. Если смогут. Разве те, кто отнял веру в Бога, не дали знание и не повысили ответственность человека? Отгораживаться от истины – значит лишать себя перспективы; и это возможно лишь на время.

– Но Вы отрицаете перспективы!

– Отнюдь. Юноша знает, что состарится и умрет: это не мешает ему наслаждаться жизнью и строить судьбу, ценя время.

– Вы пессимист?

– Нет. Скорее стоик. Истина вне пессимизма или оптимизма, вне добра и зла и вообще оценочных категорий антропоцентризма.

– Вы верите во что-нибудь? Во что Вы верите?

– «Надежда в Бозе, а сила в руке». Мне симпатичен взгляд норманнов: вера в судьбу прекрасно сочеталась у них с верой только в силу собственного оружия. Я не знаю, что такое вера. Продленное желание? Экстраполяция знания, замешанная на энергии, желании, – пусть даже вопреки кажущейся очевидности, кажущемуся здравому смыслу и банальным полустигмам: ощущение высшей истины... Но меня больше устраивает определение: знание.

– Что самое трудное для Вас в работе писателя?

– Нервное истощение. Настоящая работа делается на большом нервном перенапряжении: первое следствие – бессонница; становишься вял, сер, безмерно раздражителен и чувствителен. Запускаешь все, опускаешься физически. Забываешься горячечным сном под утро, урывками спишь весь день, неспособен отвлечься ни на что: мысль о каких-либо обязательствах, делах – несносно изматывает, гонишь ее. И лишь в сумерки обычно садишься за стол свежим и собранным, чтоб три-пять часов работать в полную силу.

– Вы считаете истинное служение искусству схимой?

– Отдаться страсти – это не схема. Разве влюбленный, живущий одной любовью – апостол? Просто – прочие ценности отходят, исчезают, нет на них ни желания, ни сил, ни особого интереса.

– То есть литература должна захватывать писателя целиком?

– Нет рецептов. Но если чутко прислушиваться к себе – работать в наилучшей форме, в наилучшее время, – то график работы начинает ползать по суткам непредсказуемо; твоя коммуникабельность делается как бы полупроводниковой: хочешь видеть кого-то только по собственному настроению, сам заранее не зная когда. Превращаешься в деспота, эгоцентриста (психически нездорового, в сущности, человека). Здесь не каприз, – это подчинение господству той силы, что делает тебя творцом... Рвутся дружеские связи, рушатся деловые: ты не в состоянии сделать ничего в заранее обещанное время, ничего, к чему не лежит душа, – раб своего состояния и своей работы, счастливый и сильный свободный раб; любая отвлекающая в перспективе надобность мешает, приводит в злобу, изгоняется вон...

Ведь писать имеет смысл только максимально хорошо. Значит, нужны оптимальные условия. Хотя помехи могут помогать: успешнее сосредоточиваешься на работе при возможности.

– А что, для Вас, самое скверное в работе писателя?

– Ничего нового: зависть и злоба коллег. Они неизбежны и естественны. Человек стремится к самоутверждению. И мерит себя относительно других. Большой писатель самим своим существованием затеняет меньших. Быть вершинами хотят многие. Можно подняться выше всех – а можно выкосить всех, кто выше или вровень с тобой. Чаше используют оба способа. Здесь та же борьба за выживание, и побеждает сильнейший. Большой талант должен поддерживать себя большой жизненной силой и устойчивостью. Недаром официальных постов и почестей добиваются обычно заурядные писатели, но стойкие, цепкие, умелые борцы в жизни.

– Кого Вы считаете первым писателем двадцатого века?

– Говорят, когда Гюго спросили, кого он считает первым поэтом Франции, он долго кричал, морщился и наконец пробурчал: «Вторым – Альфреда де Виньи». (*Легкий смех в зале*).

– Хорошо: Ваши любимые писатели?

– Чем больше знаешь, тем менее категоричен... В первую очередь – Эдгар По и Акутагава Рюноске. Из современных мне ближе прочих был Уайлдер. Есть еще один автор гениальной прозы о средневековом Востоке, но его фамилия вам мало скажет. Вообще я традиционен во вкусах: предпочитаю классику.

– Ваш любимый роман?

– «Война и мир».

– Что Вы в основном читаете?

– Я мало читаю. В основном перечитываю. Учиться надо у великих, и соперничать с ними.

Вообще не причисляю себя к интеллектуалам: чужое знание – исходный продукт и топливо для собственной работы. Что толку знать много, если не создашь ничего достойного сам.

– Но так можно создать деревянный велосипед?

– Минимум знаний необходим. Но я не хочу посвятить жизнь исчерпывающему изучению форм и видов шестеренок вместо создания велосипеда.

– Если взять Ваши вещи – они такие разные?.. А каково же Ваше лицо? Читателю хочется это знать.

– Читатель что, жениться на мне собрался? Или только читать? Творчество, человек, жизнь – многолики. И если ты умеешь видеть – каждый лик находит в тебе собственное соответствие. Нельзя изобразить лик Истины, утвердив примат одной ипостаси и отвергнув остальные.

– У Вас есть любимый жанр в литературе?

– Роман – это авианосец литературы. Рассказ – торпедный катер. Мощь разная... Но катер проскочит по рифам и мелководу, где нет хода судам крупнее. Он может решить многое; а свое искусство, скорость, риск – хороший катерник не променяет. Я люблю рассказ...

– Чем же Вы объясните свою литературную эволюцию?

– С годами размышление преобладает над чувством; накапливается опыт, утишаются страсти, нервы не тянут прежних нагрузок. Стихи – эссенция страстей в мастерстве условной формы – уступают место прозе; лаконично-многозначный, стилистически напряженный рассказ – переходит в более спокойные, описательные и рассуждающие повесть и роман. Так ищут приключений и открытий в молодости, свершений и достижений в зрелости, покоя и преемников знаний – в старости.

Конкретно же – в двадцать лет я решил, что рассказ как таковой пора завершать. В тридцать я свел каркас купола, венчающего новеллистику, и позднее обшил его полностью. В тридцать два я решил, что основные представления обо всем на свете – что вообще несколько выше литературы – тоже пора завершать. Что и сделал.

– Вопрос от рекламы: Ваш любимый напиток?

– Чай.

– Да нет, спиртной! (*Смех в зале*).

– Русская водка. Иногда. Когда не работаю.

– Ваше любимое блюдо?

– Мясо. Много. Хорошее. Жареное.

– Сколько раз Вы были женаты?

– А вы? Я не кинозвезда: рост, вес, талия не интересуют?

– Есть мнение, что Ваши произведения излишне усложнены. Предмет литературы – в первую очередь душа человека, так? Не лучше ли без формальных ухищрений просто открыть душу, сказать свое, собственное, сокровенное, затронуть читателя до глубины сердца – чего ж еще? Лучше кого-то или хуже, оригинально или обыкновенно – неважно!.. главное – свое выразить.

– Выражаю свою скорбь: всю жизнь слышу этот смешной вопрос.

Чтобы выразить свое, надо а) иметь свое; б) суметь его выразить. Хрестоматийная истина: всякое искусство условно. Чувства и мысли выражаются условными средствами искусства. Читатель «не замечает, как это сделано», если уровень читательской культуры совпадает с уровнем писательской – т. е. они говорят на одном языке. Иначе – ярлыки «примитив» или «заумь».

Является ли индийская киномелодрама, вышибающая у зрительного зала слезы из слезных желез (или из души, если вам угодно), высоким искусством? Или кинокоммерцией для масс?

Для одного – трагедия, для другого – банальность. Для одного – шедевр, для другого – смутная ерунда.

Школьный тезис: форма и содержание едины: содержание воплощается в форме. Буквы, слова, язык – уже условная форма для выражения информации. Но язык литературы несколько сложнее языка букваря. За фразой «Неважно, какая форма! чтоб и не замечать ее!» обычно подразумевается форма, естественная для высказывающегося – банальная, наиболее легко доступная. Забывают: некогда и такая форма была новаторством, революцией в искусстве, поводом к схваткам. В чем преимущество банальной формы над блестящей?

– Одна – для знатоков; другая – для всех. Почему Ваша беллетристика – для избранных, а Книга – для всех?

– Одно – искусство в его системе эстетических законов; другое – философия, очищенная от шелухи терминов и внутринаучных нагромождений: она задумана именно как проповедь для всех, отмытая и приготовленная к употреблению мысль.

– Оправдывает ли себя оригинальничанье любой ценой?

– В искусстве, как и во всем, остановки нет. Злоупотребление формой – это та часть пути в тени и низине, которую литература неизбежно должна пройти, если хочет выйти на новые вершины. Отказ от поисков новых форм – это лишение литературы перспектив ради сиюминутной прикладной выгоды: денег, рекламирования, успеха.

– А чем плохи старые вершины, чтоб от них уходить?

– А чем плоха молодость, что от нее уходят в старость? Есть один способ не стареть – умереть молодым. Эпигоны создают в литературе юноподобные труппы, которых водят за ниточки наподобие марионеток. Старая, рожают детей: с ними придет молодость.

– Вы приветствуете то, что именуется «модернизм»?

– Нет. Ошибочное не есть новое. Но не ошибается тот, кто не живет. Живая мышь лучше мертвого льва.

Какая бы система символов ни была принята в искусстве, каков бы ни был в нем «коэффициент условности», с которым писатель отражает жизнь, трансформируя изображение через свою творящую личность, – остается понятие, которое я называю «уровень хлеба».

«Уровень хлеба» – это буквальное отображение жизни в формах жизни, с копированием один к одному: это та линия отсчета, от которой развивается искусство и от которой оно не оторвется, как бы ни удалялось. Слезы и смех, счастье юности и скорбь старости, любовная страсть и ужас смерти – изображенные фотографически, безыскусно скопированные с натуры, – всегда будут в общем понятны и окажут какое-то воздействие на человека, даже вовсе темного и неразвитого эстетически.

Жизнь первична, искусство – производная от нее. Натурализм – голая земля, на которой возводятся дворцы искусства: они надстраиваются и совершенствуются, выходят из моды, оставляются и рушатся – сменяясь другими, возводимыми на той же земле.

Достижение литературой натурализма – это познание себя. Возвышение литературы над натурализмом – это совершенствование себя. Натурализм – та печка, от которой танцует литература: приемы меняются, жизнь остается. Натурализм – жив всегда. И нужен.

– Почему Вы тогда не натуралист?

– Потому что по достижении натурализма сущность искусства в том, чтобы преодолевать натурализм условными приемами – обогащающими, изошряющими, осмысляющими его. И пусть художника занесет до ненужных ребусов и наивной пачкотни – но таков путь...

– Вы постоянно противоречите себе?!

– Не более, чем любящая мать, которая наказывает ребенка для его же блага и после плачет от боли за него. Чтобы увидеть и понять предмет во всех его противоречиях, необходима смена ряда точек зрения. Иначе вы уподобляетесь тем трем слепцам, которые пощупали слона за хвост, ногу и хобот и устроили жаркую дискуссию: на что похож слон.

– Так все-таки изощренность и блеск формы мешают содержанию?

– Этот вопрос принадлежит мещанину, узнавшему, что он всю жизнь говорит прозой. А рифма и размер не мешают поэзии? Вот уж условная форма, без которой это искусство не существует. Не кастрируйте прозу до уровня обыденного трафарета.

– Вопрос для нашего еженедельника: Ваше хобби?

– Хобби – для тех, кого не устраивает их работа. Меня моя работа устраивает. Если я люблю женщин и путешествия, это нельзя считать хобби, верно? Наверное, я просто люблю жизнь.

– У Вас бывали творческие кризисы?

– Постоянно: я не успеваю отрабатывать и половины замыслов, которые постоянно возникают.

– Вам знаком пресловутый страх перед чистым листом бумаги?

– Бред. Всегда рад его испачкать. Я люблю писать. Не понимаю тех, кто «за уши тащит себя работать». Не хочешь – так и не пиши. Мне всегда приходится за уши оттащить себя от работы – чтоб восстановить до завтра силы работать дальше.

– В Вашей бурной биографии, очевидно, Вы почерпнули много сюжетов, идей, случаев; какие наиболее характерно отразились в Вашем творчестве?

– Пустое... Если меня мотало по свету, по разным работам, – это просто жажда жизни. Старая истина: приключения, любовь, творчество – это одна и та же жажда, просто утоляемая разными напитками.

Я никогда не ездил «за материалом», «за сюжетами». Жил, зарабатывал на жизнь, познавал что-то новое. Метод «приехал – увидел – спел» не заслуживает серьезного разговора: я не уважаю импотентов от творчества, чьи мозги неспособны выдать замысел.

Произведение рождается из диалога ума и сердца. Писатель – это блуждающая фаза, обнаженный высоковольтный провод: достаточно малейшего контакта с чем угодно – и вспыхивает дуга. Есть напряжение – годится и щепка, нет его – не поможет и железная гора, один пшик выйдет. А внешние события могут послужить лишь толчком – но никогда не основой той коллизии идей и чувств, которая есть суть произведения. Кроме того, при физической работе в тяжелых условиях интеллект как бы закукливается, притупляется чувствительность, размышления уходят, уступая место действиям.

Вот когда идея, внутреннее построение вещи родились – то ищешь адекватный материал для воплощения идеи в форме. Тут опыт помогает: среди знакомых реалий и находишь землю обетованную, которая становится родиной для твоего произведения.

– Ваши творческие планы?

– Завидую Шекспиру: писал в лучшие свои годы, а после умер на покое достойным частным лицом... Работать надо.

– Традиционный вопрос: почему Вы пишете?

– Это моя форма существования. В этом я нахожу максимальное применение всем силам ума и души. Знаниям. Желаниям. Это удовлетворяет мое честолюбие, в этом я самоутверждаюсь. К этому я, видно, наиболее пригоден. И еще это мне здорово нравится.

– Над чем Вы сейчас работаете?

– Никогда не спрашивайте о трех интимных вещах: с кем он спит, на какие деньги живет и что ест. Если кто болтает об этом сам – дело его. (*Чье-то ржание в зале*).

– А как Вы сами оцениваете свое творчество?

– Это один из тех вопросов, на которые не существует верного ответа.

- Критики находят у Вас много недостатков; как Вы к этому относитесь?
- Есть старая цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы высоко плюнуть».

4. Оценка

- Гудение в кулуарах: дым сигарет, решение вопросов, бар, приветствия, мелькание лиц.
- Видал я высокомерность, но такую...
 - Какова самоуверенность! Пророк Господен!
 - Для самоуверенности есть другое имя – знание.
 - Он в эстетике дикарь! Важно нам вещал букварь.
 - Ну, критики дикари точно такие же; тот же уровень...
 - Знаем мы это проведение кампании по добыванию Премии... этот у самого черта рога вытянет: умеет обдeldывать дела.
 - ...нет ничего в его книгах, по совести-то говоря.
 - Просто ловкий шарлатан. Он же смеется над всеми!..
 - Венчайте индюка королем – и получите портрет этого парня.
 - И умрет он не от скромности.
 - А кто от нее умирал?
 - Э, сегодня у него День головокружения от успехов; пусть потешится.
 - Да он всегда такой – нагл, как фараон.
 - Не-е, когда-то он держался таким скромнягой. Тихоня ползучий, где – тихой сапой, а теперь – так просто танком прет. Вовремя его придавить надо было. Хитрюга поганый.
 - Я помню, как он втирался к сильным мира сего. Без мыла! Виртуоз! Под-донок...
 - Чего ты пыхтишь – он что, чье-то съел? И правильно делал. Теперь он – герой на белом коне, а мы – шавки.
 - Меня попрошу с обществом не смешивать.
 - Есть какие-то рамки приличий, нет? Одно самолюбование!..
 - А, все писатели мнят себя гениями, так этот хоть не лицемерит. От собратьев он отличается лишь честностью. Дает заглянуть в их душу, открывает ее без прикрас и кулис: смотри, знай! В чем его обвинять – в откровенности?
 - Знакомство-то полезно, да самообнажение неприлично...
 - Привет ханжам и конформистам!
 - Интересно, какую жену он благодарил: первую, вторую или третью?
 - «Соблазнитель», видите ли... Он основательно предавался изучению описываемого предмета, говорят...
 - Ему хорошо... Когда он писал все это – нищета, видите ли! – семью-то кормить не надо было...
 - Вот в этом ему можно позавидовать.
 - Но что удивительно: умудрился связать воедино все давно известные вещи и создать впрямь новую Библию. Которую читают – все! И черт знает какая мудрость в ней; душу он за нее продал, что ли?..
 - Удачлив, сволочь. Только и всего. Где другие всю жизнь пахали – он пришел, копнул в сторонке, и пожалуйста. Дуракам всегда везет.
 - Широкий успех – признак банальности общедоступной книги.
 - Все понимаю – но почему он? Есть же действительно хорошие, настоящие писатели...
 - М-да, не талантом входят в литературу, а пробивной силой...
 - А куда входят не пробивной силой?
 - А я вот никогда не умел идти по головам! И не хотел!
 - Ну так и молчи теперь, чего ты дергаешься.

- Но как он многословен! Покрасовался, болтун. Самоучка.
- Так он ведь к самоучкам и обращался.
- Слишком заумно все это для газеты и читателей.
- Отредактируешь, адаптируешь, причешешь: а ты на что.

5. Кумир

Толпа у входа. Бездельники в жизни – возбуждены страстью престижного зрелища: молодежь, взвинченные женщины, дамы старой полубогемы, пестро и буйновато.

- Как жить?
- Ходить по путям сердца своего: счастливо.
- А что такое счастье?
- Жить в полную силу своей души. Ничего не боясь.
- А Вы чего-нибудь боитесь?
- Нет. Мудрый человек может лишь чего-то хотеть, а чего-то не хотеть.
- Ваш главный жизненный принцип?
- Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
- Каким должен быть идеал человека?

– Идеал человека – ангел... Наверное – нормальный здоровый человек, уверенный в себе, который хорошо делает все, за что берется, и никогда не хнычет. Вообще я вполне приемлю людей, какие они есть: правда жизни истиннее оценок и схем.

– Тогда почему Вы так высокомерны? (*Замирает от дерзости*).

– Я был скромн: мне норовили наступить на голову.

– Вы злой! Почему Вы злой? (*Пытаются оттащить нахалку*).

– Злой лучше работает. Злость помогает выстоять, она – резерв энергии, ищущей выхода.

Злость – это запас силы.

– Разве доброта не лучше злости?

– Доброта – умение проникнуться нуждами другого; она позволяет понять другого. В действии она неспособна преодолеть встречное сопротивление, подавить чужой враждебный интерес, не поддавшись ему: это отсутствие сильных страстей и целей, слабость и безразличие души. Доброта – чтобы понять, злость – чтобы совершить.

– Писать ли мне?

– Если вы спрашиваете об этом – то нет.

– А Вы правда все знаете?

– Правда. Я говорю о качественном знании, а не о количественном. Как печь хлеб – расскажет любой пекарь, но смысл и всеобщие связи этого процесса ему неизвестны.

– А не скучно все знать? Не тяжело?

– Отнюдь. Необычайно интересно. Тяжела скорее чужая тупость.

– А Вы бы хотели снова стать молодым?

– Я достаточно уважаю себя, чтобы не желать ничего изменять в своей жизни.

– А в каком возрасте Вы бы остановились, если б пришлось выбирать?

– Тридцать два. Уже все знаешь, еще все можешь и хочешь.

– У Вас есть неисполненные желания?

– Нет. Но постоянно возникают новые.

– Вы во что-нибудь верите?

– В победу.

– Любой ценой?

– А разве бывает победа иной ценой?

– Вы сомневаетесь в себе когда-нибудь?

- Нет. Иногда сомневаются другие. Пусть не сомневаются.
- Как стать великим? Таким, как Вы?
- Кто спрашивает – не станет. Перечтите «Если...» Киплинга.
- Вы что, железный? Без слабостей и привязанностей?
- Да – так и тянет ответить в ваши восторженные глазки. Ерунда это все... Творят кумира, усаждая возбужденное воображение – это доступней и приятней, чем понять просто человека. Я из сплава покрепче, только и всего.
- Вы верите в любовь?
- Только убогий душой не знает ее.
- А что делать от несчастной любви?
- Добиться взаимности. Умереть. Хранить ее. Влюбиться снова. Но никогда не спрашивать совета.
- Вам нравится современная молодежь?
- Мне нравится и не нравится в ней то же, что и в обществе в целом: просто в молодежи все это ярче проявляется.
- А современные моды?
- Природа моды исключает споры: престижный момент, вечное обновление, условность дозволенного; все красиво по-своему.
- У Вас есть враги?
- Я не так ничтожен, чтобы не иметь их – и много.
- Что вы о них скажете?
- Дадим им копотю!
- Прощать ли врагам?
- Не считать их за людей. Давить при надобности и забывать. И обращать их действия себе на пользу.
- А нужно возлюбить врага?
- Сильного и умного врага уважаешь. Понимаешь его. Учишься у него. Можешь ему сочувствовать и даже его любить. Но это не должно помешать переступить через него – а лучше через его труп.
- А друзья у Вас есть?
- Поклонение не дает права на бесцеремонное копанье в душе.
- А что, если друг стал врагом?
- Горе побежденным.
- А если побежден ты?
- Не скули и готовь реванш.
- Вы циник! (*Настроение толпы меняется – она уязвлена*).
- Я просто честен и умен.
- Вы жестоки!
- Я честен и силен.
- Вы эгоист!
- Я обязан делать свое дело. Кроме меня его не сделает никто.
- А кому оно нужно?
- Мне. Но и вам: у нас одна культура и история на всех...
- Ваше самолюбование мерзко.
- Так зачем вы на меня смотрите? Я не стыжусь себя: честно говорю то, что другие ущемленно и спесиво лелеют в тени своих липких душонок, боясь обнажить их хилое уродство.
- Что такое труд?
- Деятельность, имеющая результатом материальные блага.
- Благословите меня!

- Не блажите: рад бы в рай, да грехи не пускают.
- На Вашей совести есть грехи?
- Для начала тут надо иметь совесть... Есть. И много. Я не боюсь их. Хотя для таких, как я, грехи не существуют. Я прагматик. А истина вне морали. Есть лишь суть вещи, действие, следствие и плата.
- Как Вам удалось выстоять?
- Удары сыпались на меня со всех сторон, пока однажды я не обнаружил, что откован в клинок.
- Какой возраст Вы считаете лучшим для писателя?
- Для прозаика – двадцать девять-сорок шесть. Взгляните в мировую литературу: исключения единичны.

6. Свой парень

Дым коромыслом: компания в ресторанчике, куда она перебралась после помпезного банкета: веселый цинизм, хмельная откровенность, дружеские издевки.

- Итак ты велик, богат и знаменит. Комнаты для гостей есть?
- Как обещано. В любое время. Условие одно: никаких умных разговоров.
- Ты не безнадежен: узнаешь старых друзей. (*Хлоп по плечу*).
- Вся эта никчемная ерунда хороша одним – можешь что-то сделать, доставить удовольствие тем, кому хочешь...
- Ну ты порезвился! Дал им копати!
- А, пустой триндеж. Если б господь бог не хотел, чтоб им хамили, он бы не создал их холуями.
- Напишу мемуары: «Мой друг – Зевс». (*Чокаются*).
- А, иначе лакеи станут и Зевса учить величественным манерам.
- Не притворяйся, что тебе это все неприятно. Ты ведь с юности мечтал об этом.
- Кто не мечтал. И денег, и женщин, и любви, и славы, и благополучия, и приключений. И при всем еще счастья. (*Хмыкает*).
- Ну, вот ты все и имеешь. Прорвался. Со стальной ложкой.
- И уплатил цену нищеты и унижений.
- Червями ползут многие, а вот доползти, чтобы взлететь орлом... Пардон, молчу. Зато теперь ты испытал все.
- Привычки нищеты въедливы, уродуют. Приниженность, зависимость от имущих, крохоборство, заикленность на деньгах – на грошах.
- Не ты ли проповедуешь полноту жизни? фарисей.
- Все одно – горе не мед. Его память обсахаривает.
- Тебя уже коллеги официально обсахарили, как марципан.
- Хочешь пососать? (*Хохот*). Они уже вылизали. Шайка идиотов. Когда-то мне хотелось купить вагон калош – чтоб эти наглые холуи носили их за мной в зубах.
- Так купи теперь. Понесут!
- Потом я научился не воспринимать их как людей. Шахматные фигурки. Самоходное удобрение для моей грядки.
- Все?
- Нет. Нескольких я действительно уважаю.
- Ты гнусный карьерист; хочу брать у тебя уроки.
- У пирога одна верхушка, а у каждого едока по ножу. Чтоб занять свое место, нужно многих поставить на их места.
- А помнишь, ты говорил: «Стану когда-нибудь отъявленным негодяем»?

- Обещано – сделано! (*Хохот*). Ребята, так охота быть добрым.
- Кто тебе не дает?
- Руки на стол! – дайте мне заплатить, ладно?

7. Милый-дорогой

Люкс в отеле: ночное окно, смятая постель, пустая бутылка, два силуэта.

– Я хочу знать о тебе все...

– Всего я сам о себе не знаю.

– А как ты начал?

– Кому это интересно... В тринадцать лет с лучшим другом мы болели «Тремя мушкетерами»; размышляли о жизни в развалюшке на задворках – школьным мелом написали на ней «Бастион „Сен-Жерве“». Он и высказал: хорошо изобрести машину, чтоб видеть человека насквозь... А я сказал – ха: вот видеть человека насквозь без всякой машины...

С детства хотел я понимать каждого. И я стал понимать. И душа моя прониклась душой любого человека, его бедами и нуждами.

– Ты добрый. А в глубине злой. А в самой глубине совсем добрый...

– Я был добр. Совесть мучила меня всегда: в малейшей несправедливости, в каждой боли мира – была моя вина. Вина причастности и бессилия изменить.

Каждому отрезал я от любви моей.

И остался в ничтожестве. Своим мясом всех собак не накормишь.

– Неправда. Ты прожил настоящую, красивую жизнь.

– Многое кажется красивым, если это не с тобой сейчас. А когда болят зубы, и воняет изо рта, и нет денег на врача... Когда нечего жрать, и в долг никто уже не дает: «Ты знаешь, старик, я сам сейчас на мели...» – и глаза в сторону. Крадешь объедки в закусочных, клянчишь мелочь на улицах – «на метро», «на телефон». Когда готов отдать любимой женщине жизнь, но не можешь купить ей цветок.

– Как ты смог все это вынести...

– Мне было двадцать восемь – когда однажды ночью я перешагнул.

Я жил в конурке с окном на мокрые крыши, жрал один хлеб и писал. Я смеялся над нищетой в романах: «Бутылка молока», «кусочек колбасы»! Хлеб, кипяток, дешевое курице, – месяцами; годами. Но я писал то, что хотел! И не мог писать так, как хотел. По три дня искал слово! Три недели делал страницу. Был здоров, как колокол – а сердце болело. Если к концу рабочего дня оно не ныло – я ощущал себя самообманщиком.

И вот ночью, в осень, бродя под дождем в поисках фразы, я не то чтобы сказал себе, нет: внутреннее чувство оформилось в решенное осознание: я сдохну в дерьме под забором, но я буду писать так, как я хочу и должен.

И перевалив этот рубеж – стало легко. Просто. Не осталось в жизни ничего страшного. Я спокойно отыгрывал любой, малейший шанс – из глубины падения, куда я мысленно уже лег сам, добровольно. Мне было нечего терять. Путь мог быть только вверх.

Там, ночью, на дождливой площади у гранитной колонны, была моя настоящая победа. Остальные пришли сами.

8. Гамбургский счет

Рассветное шоссе, летящий «мерседес», руки на руле, сигарета в сжатых зубах. Смесь пьяного полубреда с не то аутотренингом, не то головокружением от успехов: приступ мании величия.

«Суровое величие

Высеченный гранит
Железный чекан
Надменность и сталь
Сила и победа
Уверенность и спокойствие
Жестокость и непреклонность
Холодное пламя успеха сжигало меня
Я супермен
Я железный
Я все могу
Я делаю невозможное»

Ну что, загнули мне рога? Фигу вам всем! Мелочь пузатая. Не верю в экстравертов. Что болит – того не трогают. Сокровенного не выставляют. Слез моих хотели? души? хрен! Ничто меня не волнует. Ничто не трогает. Ни в чем не дрогну.

Да! – и плакал, и молился, в черном отчаянии гибнул, самое дорогое терял – да не надломился ни в чем. Не в том дело, чтоб не падать, а в том, чтоб тысячу раз упав – встать тысячу один.

Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчитал собственной мордой. Эти шрамы – моя биография.

Я въехал на белом коне! – пусть это Конь Блед. Тяжелы мои глаза, жестоки мысли, тверда и безжалостна душа. И истина мира ясна мне, и впору мне ее груз. (*Прибавляет газ – спидометр на 130*).

Да! – я прошел с хрустом по головам, щелкая людей, как орехи. Прочь с пути, – я шел за своим: добыча тигра не по зубам шакалу. Нет преступления и нет подвига, которых я не совершил бы и не пережил в душе моей. Нет доблести и порока, неизвестных мне. Душа моя выжжена. Холодное пламя успеха выжгло ее. Стальной клинок на ее месте. И кровь не пристала к нему. (*140 км*)

Умом и напором, волей и хитростью, жестокостью и любовью, делая все возможное, а потом еще столько, сколько надо. Воля и страсть. Не отступать.

Опасно? – шаг вперед!

Сомнение? – шаг вперед!

Риск? – шаг вперед!

= (*Визжат шины на вираже.*)

Чертовы друзья, заявляющие на тебя права, лезущие когда надо и не надо с услугами и требующие близости взамен. Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души, или жизни, несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе этот подарок – как булыжник в стекло. Сявки, паразиты! Если я вам нужен – приходите тогда, когда я сам позову вас. (*Вихрем проносится встречный грузовик*).

Мощное, ровное, неотвратимое движение вперед.

Был я человек. А стал – инструмент в руках божьих и дьявольских. Душу продал, кровью расписался – в ту дождливую ночь.

Для таких, как я, справедливости не существует. Жрут, как могут. Так сломай зубы гадам. Да! – тысячу раз я умирал, стиснув зубы на глотке врага. (*180 км*)

Я должен был – и я дошел. Я смог. Один из всех. Супермен. Авантюрист. Танцующий убийца. И только по-моему. Только так может быть. Не могло быть иначе. Только так.

Ящик для писателя

Ящик для писателя

..... зор!
.. славы и денег. . . . выразить себя. . . донести
мысли и чувства. . . .

..... Явить свое произведение и скрыть себя – вот задача художника, сказал Уайльд: оделся с неподражаемой элегантностью, напوماдился, подвел глаза, вдел в петлицу цветок ромашки, собственноручно выкрасив белые лепестки зеленой краской, чтоб изысканно смягчить крикливый природный цвет, и поехал в большой свет, законодательствовать меж денди, где с изяществом и трахнул сына маркиза Квинсбери, и уж тогда надежно скрылся в Рэдингской тюрьме, явив миру «Балладу» и «Из бездны зываю».

Нужно хлебнуть рабства сполна, чтобы выдавить из себя раба до капли: постичь и проповедать суть свободы, скрыв от мира и истории свое имя под уничижительным паче гордости псевдонимом Эпиктет; пусть влюбленный и на лучшее не годный Арриан молитвенно вносит в скрижаль мысли учителя.

(Так что если посадить всех писателей в тюрьму с правом переписки – литература могла бы и расцвести. Те, кто пытался это сделать, были не вовсе лишены понимания сути искусства, и с подчеркнутым вниманием следили за его развитием и связью с жизнью.)

Когда из номера в номер ведущие газеты Франции гнали бесконечными подвалами по главам «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо», роман-фельетоны были для массовой публики, в отсутствие кино и телевидения, тем же, чем сейчас являются мыльные оперы. Это давало максимум славы и денег писателю. Имя! «Рукопись, подписанная Дюма, стоит десять франков за строчку, Дюма и Маке – один франк».

Кино и комикс прикончили театр и книгу, ТВ прикончило все. Каждому свое, один телевизор для всех. Рожа в радужном экране – это слава и деньги. Легальный взлом двери и черепной коробки. Так чем же ты недоволен, Хитрая Жопа?

Писатель полез в телевизор, как домушник в форточку – за законной добычей. Павлиний хвост посильно блещет в жюри конкурсов красоты, показов мод и КВН; письменник ведет викторины, потешает зал на светских капустниках и свадебным генералом представляет на всевозможных мероприятиях. Он протаскивает, пропихивает, протаранивает на ТВ собственные регулярные программы – про историю и про литературу, про политику и рок-музыку, нравственность, экономику и образование. Он внемлет с грузом ответственности в одном глазу и благодарности в другом на встречах Господина Президента со вверенной последнему интеллигенцией, норовя возгласить в камеру что-нибудь запоминающееся (чтоб отметили) и краткое (чтоб не вырезали) – так что умельцы пера и топора быстро научились кидать мазок яркого грима к своему имиджу одной хлесткой фразой (вовсе не связанной с сутью разговора, вполне беспредметного). Но в присутствии Государственного Лица позвоночник писателя вьет неподконтрольный любовный прогиб, голос льет сладкозвучной нотой бельканто, и лакейская сущность подлого (под-лог, под-лежать) сословия явна каждому, имеющему глаза и уши.

Но – «в королевских приемных предпочитают попасть под немилостивый взгляд, нежели вовсе не удостоиться „Взгляда“.»

Если б тем взглядом аудитории можно было забивать гвозди (бы делать из этих людей), ЦДЛ давно бы выглядел кованой сапожной подошвой, где вместо стальных шляпок торчат творческие лысины.

И наплевать. Что главное? – имидж. Какой? – у которого высокий рейтинг. А без паблисити – хоть шуйзом об тэйбл, хоть тэйблом об фэйс.

Они правы! Писать умеет любой дурак, а судьи кто? ценность написанного определяют два других дурака – критик и книготорговец. Критик глуп и продажен, как ты, и предпочел бы быть писателем, а торговец предпочтет торговать нефтью и автомобилями, да крутизны не хватает: президент? проститутка? скандал?

– о'кей книга, продам. Все равно никто ничего не читает, а кто читает – ни хрена не понимает, пусть неудачник платит, и пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.

Итого.

Творчество писателя стало приложением (чаще – бесплатным) к его имиджу и рейтингу. Наличие чегой-то там за кадром написанного есть повод и оправдание головы в кадре, которая проповедует, как нам реорганизовать и обустроить Россию и Рабкрин, как надо любить и как сохранять любовь и семью вместе и по отдельности, как зарабатывать деньги и беречь душу, повышать свою культуру и преумножать народную, знать темную историю и верить в светлое будущее; также писатель готов рассказывать бородастые анекдоты, хихикать шуткам начальства и телеведущего, подобострастно улыбаться мэру и министру, и с обольстительным остроумием благодарить вора-банкира, который в смокинге перед камерой подал писателю чек на тысячу баксов.

Вот тебе неньюфар! Вот тебе альбатрос! Вот вам тамтам!

И в сущности, всем глубоко насрать, что этот писатель написал, или вовсе ничего не написал.

Писатель стал телеведущим, конференсье, и жутко этим доволен, и коллеги ему завидуют, и заискивают попасть в его передачу.

Он, так сказать, реализует себя не в области и формах литературы – а напрямик: вот я, мои лицо и фигура (о Господи!), мое остро/тупо/умие, мои суждения по разным вопросам.

Функция его неоднозначна. Из литературы он изъят, пустота, после смерти наработанного итога людям не останется. Млеет гордо, что (см. выше – слава и деньги) из ящика своего может менее телевизиорного писателя прославить, рядом посадить (взятки дают, услугами льстят!) – а может и полить, и замолчать. Самоутверждение! власть! Сорный цвет на литературной гидропонике...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.